



ИМАНТ ЗИЕДОНИС

ПЕРЕЛЕТНЫЙ КАМЕНЬ

**ИМАНТ ЗИЕДОНИС**

**ПЕРЕЛЕТНЫЙ КАМЕНЬ**



**Москва  
«Молодая гвардия»  
1981**

Предисловие В. Александрова

**Зиедонис И. Я.**

Перелетный камень: Пер. с латыш.—М.: Мол.  
3-59 гвардия, 1981 — 128 с., ил.— (Компас).  
20 к. 100 000 экз.

В книгу народного поэта Латвии, адресованную юношеству, входят сказки и эпифании. Шутливым, сказочным, гиперболическим языком поэт говорит о многоликости жизни, о сложности человеческих взаимоотношений. Высокопоэтические стихотворения в прозе, философские раздумья о человеческом долге, о взаимоотношениях человека с природой.

3  $\frac{70302-291}{078(02)-81}$  232—81.

4803010203

ББК 84Лат7  
С(Лат)2

В классическом двуединстве «автор — читатель» трудно выделить главное и определяющее звено. Они одинаково равны и не существуют друг без друга.

...Имант Зиедонис родился в крестьянской семье в 1933 году. Учился, помогал дома по хозяйству, занимался крестьянским трудом и — с отцом — рыбацким делом. В 1959 году закончил Латвийский государственный университет как филолог. Путь в литературе начал как поэт. Но до сих пор мечтает стать агрономом и заниматься экономикой земледелия.

«Бескультурный человек связывает прекрасное только с интересами материальной пользы... Поэтому он валит липы на краю своего участка, чтобы они не загораживали картофель от солнца» — так уж получается, что в науке о возделывании сельскохозяйственных культур Имант чаще всего выделяет культуру самого возделывателя. Это глубоко традиционно для этики латышского крестьянина. И конечно, не только латышского. Однако наш разговор все-таки о творчестве сына латышского крестьянина.

Известно, что ни один литератор не может не выразить в творчестве своего отношения к жизни да просто своей совести.

Где берут для этого силы?

Зиедонис — в значительной степени в народных латышских песнях-дайнах, этом памятнике истории народа. Писательский талант Зиедониса отличает умение получать от народа, от тех, в кого верится. От дайны, от души народной — вдохновенная отзывчивость писателя на красоту, на форму, на цвет. От современной личной культуры — быстрота, с которой писатель в своем искусстве улавливает и отражает силу и точность впечатления. Но и здесь, как в случае с агрономией, Зиедониса интересуют обладатели формы, цвета и красоты. Например, крот с янтарным зубом («Янтарная сказка»), он очень сердится, когда раздевают янтари — «причесывают и шлифуют. А потом делают из них ручки для мухобоек, янтарные мыльницы и мунштуки». Или Вечный Конь («Синяя сказка»), он всегда сможет противостоять машинам. Вечный Конь может быть только синим. Это цвет мечты и надежды. Синий Конь почти никого к себе не подпускает. Разве только некоторых поэтов...

«Но если у вас есть немного синего овса...»

Один из серьезнейших вопросов литературного труда — вопрос о том, насколько писатель умеет передать в законченной форме то, что он хочет выразить эмоционально? Зиедонис — аккумулятор огромного эмоционального заряда. Отсюда у него молодое обилие идей и зрелое разнообразие литературных форм.

Не всякая идея может быть выражена любым писателем. Идея олицетворяет творца. Поэтому, обнаружив в произведении идею,

мы сравнительно быстро отвечаем сами себе на вопрос: что именно из индивидуальности писателя запечатлено в произведении?

Творчеством Зиедониса движет беспокойство. Истинный поэт начинает с ощущения потери, боли. Думаю, Имант испытывает что-то близкое.

«Внезапно напал на меня страх, что совсем могу забыть сестру свою. Будто вовсе останемся мы незнакомы.

Много в моей жизни говорил я с чужими людьми, а было ли у меня время поговорить с сестрою моею? Встречались, здоровались. Здоровались и прощались.

Почему-то именно сегодня я увидел отчетливо эти маленькие морщины у глаз ее, шершавую от работы руку и глаза ее, очень похожие на мои.

Если правду сказать — я ни разу, наверно, ее головы не погладил. Разве что тогда, когда была она совсем маленькая. Чаше я ее бил. Она всюду хотела бывать со мною, а я не хотел. Мне и в голову тогда не приходило, что она таскается повсюду за мною лишь потому, что я был у нее самым близким человеком и друзей у нее еще не было...»

Это кусок эпифании. «Эпифания» в переводе с греческого означает приблизительно то же, что в русском «откровение».

Что еще движет стихом и прозой Зиедониса?

Старый-старый закон: многоречивость — еще не истина. Имант обычно краток. Ведь глубина может быть методом и мерилom художественного мышления и в короткой эпифании или строфе, но совершенно отсутствовать в повести или поэме.

Зиедонис популярен в Латвии, особенно в молодежной среде. Привлекает к творчеству писателя, несомненно, его художническое беспокойство. Пока поэт беспокоится, мы знаем: от его поэзии можно чего-то ждать. Читающая молодежь это отлично понимает.

Зиедонис — враг рутины, предвзятости, а значит, и фальши:

«Я — Серый.

Я — серый, как мышонок.

Как птица, как пепел, как пыль.

Я — Серый, но что бы делали без меня Яркие!

Где я? Повсюду.

Вот растаял снег, обнажилась земля — серо вокруг, скучно. Весна пока что серая. Но вот лопнула серенькая скромная почка — расцвела верба. Разве она была бы так хороша и бела, если бы я не был таким серым?..»

Найти свой цвет. Это ли не задача?!

Может показаться, будто в сюжетах «Сказок» верховодит случай. Но вчитаемся: короткая выразительная фраза и «цветонапор» уверенно и элегантно облегают прочный скелет выношенной мысли и гармоничной композиции.

Зиедонис парадоксален. Это качество, привлекающее к нему молодых.

Есть и еще причина, объясняющая привязанность молодежи к творчеству Зиедониса. Народный поэт Латвии, заслуженный деятель культуры республики, лауреат Государственной премии Латвийской ССР, лауреат республиканской премии Ленинского комсомола, обладатель почетного международного диплома имени Г. Х. Андерсена, Имант Янович Зиедонис в отношениях с читателями и коллегами всегда легко способен мысленно снять с себя все регалии и быть просто щедрым, оставаясь резко сосредоточенным. Его присутствие и в профессиональной среде, и в читательской, и в смешанной спокойно предопределяет дух студийности. Дух студийности — это когда можно не тратить время на дипломатию, на скидки раздутым самолюбиям, когда не бояться быть непонятым, когда дело можно делать на едином дыхании. Словом, когда «пар не выходит в гудок». В таких условиях появляется возможность продуктивно заниматься делом, в которое действительно веришь.

Есть в современной советской многонациональной литературе писатели, никогда не спешащие издавать свои новые произведения. Зиедонис среди них. Такое отношение можно объяснить повышенной требовательностью к себе. Это очевидно. Главное же для таких писателей — высокие требования к себе в искусстве. А это уже совсем иное. Сердечная переполненность вырвала когда-то у художника Ван-Гога страстные слова: «Нет ничего более художественного, как любить людей!»

И эпифании и сказки напитаны жизненностью, то есть образностью и современной идейностью. Этих качеств Зиедонис беспоконно и бдительно требует от себя в своей литературной работе.

Может быть, кажущаяся недоговоренность эпифаний и цветные аналогии сказок есть лишь стремления, а не образы мыслей, выраженные словом? Судить каждому читателю, который захочет задуматься. Если стихи или проза не могут возникнуть до тех пор, пока не исчезнет обыденность и не наступит власть повышенной выразительности, то условия для повышенной выразительности никогда не наступят, не приобретя определенной формы, скажем, эпифании или сказки.

«Пуговица и Шпилька сидели в кафе.

Пуговица была молоденькая, а Шпилька повидала немало и была в жизни немного разочарована, потому что никогда не могла отличить настоящие волосы от искусственных.

— Главное,—говорила Шпилька,—берегись, чтоб тебя не пришили...»

Эффект? Нет, довольно острая форма. Но образы «героев» она не заслонила. Форма объединила образы. И это тоже свидетельствует о поисках, а не о шаблонах, оставляет воздух для свежих

решений... и для переводчиков. В данном случае для поэта Юрия Левитанского и писателя Юрия Ковалея. Они не столько переводили, сколько решали сложные задачи художественного перевода, взвалив на себя ответственность довести в русском языке определенное эстетическое направление до полной отчетливости.

И эпифании и сказки демонстрируют отношение филолога Зиедониса к языку и образу. Отношение, если говорить о каком-то отдельно взятом законченном произведении, созидательное. Созидать — значит для Зиедониса творить на виду. Так рубят избу: виден каждый этап работы и одновременно — целое как результат каждого этапа. Ощущение готовности «избы» (произведения) не может в памяти и движениях души читателей стереть впечатлений от изнурительно-прекрасного поэтического труда, художнического поиска автора.

А хорошо ли, когда виден вложенный в прозу и поэзию труд, когда заметно, «как это сделано?»

Одним из ответов вполне можно считать такую реакцию далеких от литературы людей, крестьян, высказанную однажды: «Не понимаю, что ты там, поэт, пишешь, но чувствую, чего ты хочешь, и знаю, что ты за человек».

Зиедонис с первых своих строк в литературе не может оставлять слово на волю случая, стремится пользоваться языком осмотрительно, по-хозяйски. Вот почему часто кажется, будто писатель совершает нечто вроде колдовских заклинаний:

«...Когда надоело мне находиться на грани письменного стола, я отправился шагать по всяким другим граням.

Я вышел через чердак на крышу и сел на ее гребень. Гребень — линия излома крыши — черта между правым ее крылом и левым. Кто ходит по гребню, тот видит оба крыла, обе стороны крыши. Гребень крыши — линия художников и трубочистов.

Я сижу на самом гребне, одна нога по одну его сторону, другая — по другую. Означает ли это, что я балансирую между? Да нет, я просто изучаю границу между ними. Здесь, на грани, сходятся любовь и ненависть двух плоскостей противоположных. Грань — это линия объединяющая и линия, которая разделяет. Два ветра встречаются здесь и кружатся в едином вихре...»

Особенность образно-художественного мышления Зиедониса — при помощи слов вносить известный порядок и некоторую ясность в неясные мгновения.

Интересно рассуждать о том, как пишет Зиедонис. Однако «жанр» предисловия нетерпелив и настолько самонадеян, что нуждается сказать еще, и о чем пишет Зиедонис.

Имант постоянно и мужественно выясняет, соответствует ли он, человек и поэт, своему времени. И что значит — соответствовать времени. Для него это всегда означает бороться за нового, гармоничного человека. С первых своих произведений Зиедонис ведет

страстную полемику с мещанским, потребительским представлением о труде. Из этой полемики выросли, в сущности, все его книги и самая, пожалуй, беспокойная из них — «Курземите».

Имант ищет единый и многоликий идеал труженика. Неперспективные темы он вообще не разрабатывает.

Тема труженика не только портрет социально активного героя. Это в не меньшей, а то и в большей степени семейный портрет. Семья — самая маленькая ячейка государства, его основной коллектив.

Лет десять назад Имант помог написать ученице 11-го класса Илзе открытое письмо всем бабушкам Латвии. В письме девочка спрашивала: у кого же эстафетная палочка, от кого ей принять семейную эстафету? Бабушка Илзе говорит ее матери: «Я своих вырастила, воспитывайте-ка и вы своих!» Но мать не в состоянии «держать стол» (как говорят латыши) — она же работает. Семье удается не чаще раза в неделю собраться за семейным столом. Социологи утверждают, что большая часть женщин работает из-за надобности в этом для народного хозяйства. Папа Илзе утверждает, что многие мамы в работе ищут все-таки «лжеосвобождение».

Зиедонис присоединился к точке зрения отца Илзе и стал получать пачками сердитые письма. Многие из корреспондентов поэта с тех пор не ходят на его авторские вечера. В результате аудитория читателей и слушателей Иманта заметно помолодела.

Вот такая нелегкая проблематика и есть тема книг Иманта Зиедониса для подростков и молодежи.

Зиедонис — реалист.

Его охотно называют и писателем-философом...

Можно сколько угодно рассуждать о философской основательности или несостоятельности книг Зиедониса. Однако при этом надо попытаться понять, что о философии в том или ином произведении есть смысл говорить лишь тогда, когда философия «сама» возникнет в голове читателя по поводу прочитанного. Творчество Иманта обязательно убедит в этом.

Не усложнением окружающего нас мира объясняется пульсирующая проза и поэзия Зиедониса, а бешеной попыткой отстоять и вновь утвердить исконное, внутренне не убывающее никогда человеческое право на мать, на природу, на друга, на стол в родительском доме, вокруг которого мы и в самом деле уже почти не собираемся...

Писатель совершает чудо, если произведение пережито сердцем и выражает его чувства и мысли. Если же писатель пишет «как принято», пишет по кем-то сформулированным законам (которые, конечно, знать надо) и не имеет потребности нарушить их, то он не писатель. Такой человек цепко держит вожжи своего искусства и хорошо знает наезженную дорожку. Неприятность у него

бывает одна — никто на его тарантас не обращает внимания: на наезженной дороге таких сотни.

Эпифании и сказки — собственная дорога Зиедониса.

«...Порой мне бывает трудно впервые войти в незнакомый дом. Будто вламываешься в непонятную чью-то душу.

Тогда я сперва обхожу вокруг дома.

У каждого дома свое излученье, свой ореол. У иного совсем незаметное излученье, небольшое — лишь у окна, лишь у дверей. А от других домов оно летится свободно и сильно, сквозь заборы и стены, на многие километры.

Я обхожу вокруг дома по невидимой границе, где начинается близость дома.

Мощное излученье исходит от дома, где водятся пчелы. Он лет свое излученье до той далекой черты, куда залетают пчелы. Это места большого целебного излученья. Я бы сюда приводил детей — пусть спят здесь после обеда...»

И нам, конечно, читая эпифании, да и сказки, придется не раз обходить вокруг них по невидимой границе, где начинается близость с ними, с их автором.

Эпифании наделены свежестью непонятного жанра, который несет существенный социально-художественный смысл. Их интимность (мы ее обязательно почувствуем) — счастливый прием, притягивающий внимание читателя. Это как бы театр одного актера: действие наполнено личным, сокровенным (значит, вроде бы не подлежащим оглашению), и все же оно рассчитано на то, чтобы его осмыслил именно «посторонний» — зритель.

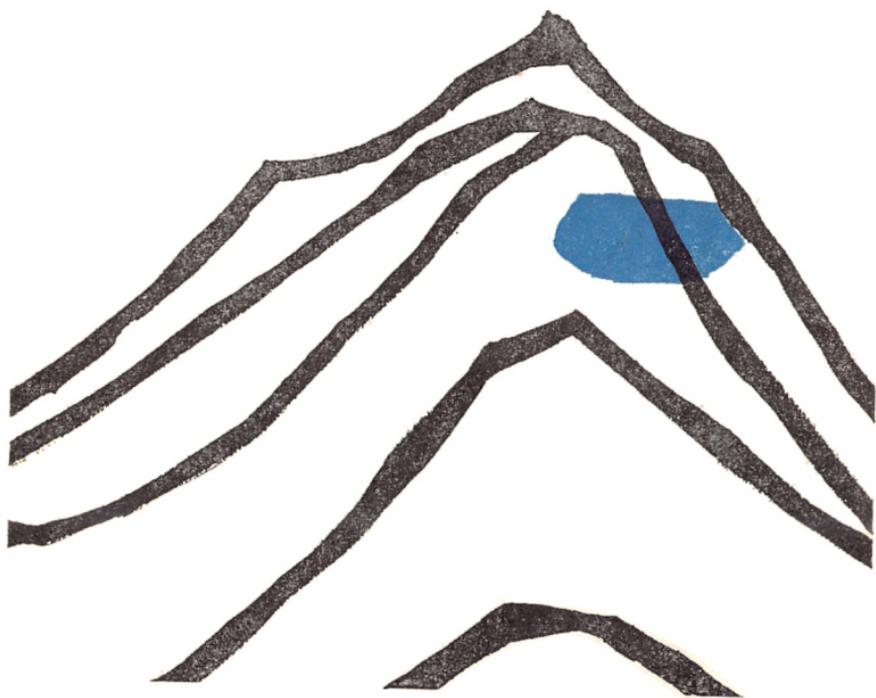
О Зиедонисе много написано и будет написано еще больше. Я не люблю читать о Зиедонисе. Я люблю читать Зиедониса, и вам от души советую. Замечательно уже то, что все мы наверняка по-разному воспримем его. У нас будет разная реакция на страницы этой книги. И хорошо.

Думаю, наше отношение к творчеству Иманта Зиедониса будет зависеть все-таки от отношения к синему цвету — цвету мечты и надежды.

Вот только как быть с горсточкой синего овса?..

**Владимир Александров**





---

# ЭПИФАНИИ

---

*«Эпифании» — слово греческое. Отражение. Откровение. Тончайший импульс, короткая вспышка, выхватывающая из темноты мгновение быстротекущей жизни, высвечивающая напряженье мысли, жест, ощущение, событие, поступок, предмет.*

*Короткие вспышки, импульсы, порою чьето и противоречащие друг другу — диалектически противоречащие друг другу, — соединенье разнородных явлений и даже полных противоположностей в единый — диалектически связанный — непрерывный поток. И общее направление потока — от рожденья к рожденью, от рожденья и снова к рожденью, вечное торжество жизни над смертью, жизнь, ее вечный, неодолимый, надо всем торжествующий ритм.*

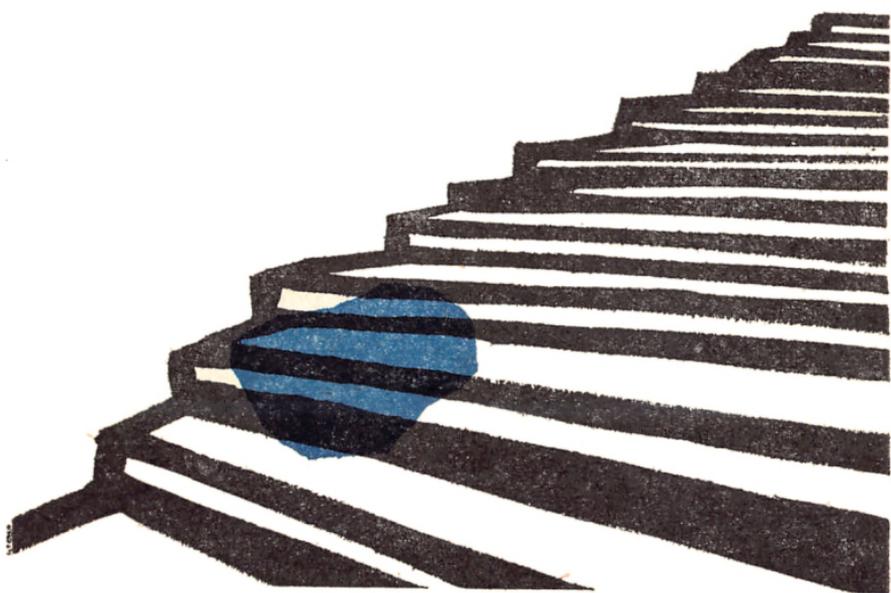
*«Эпифании» — это не проза в обычном смысле. Думаю, это ближе к стихам.*

*Ближе, но все-таки не стихи?*

*Может быть, стихотворенья в прозе?*

*А может быть, проза в стихах?*





Рано еще. Совсем еще рано. Солнце еще глаз не открыло. Мать еще люльку качать не начинала, отец к лошадям не заглядывал. Ботинки лежат за дверью, за дверью порога, за дверью дороги.

В щелях между половицами покоится день вчерашний. Вдох еле слышный притаился в посудном полотенце, какое-то слово ворчливое дотлевет в печной золе.

Но незаметно вечерний сон переходит в утренний, и вот просыпается шапка на столе. Шапки вообще просыпаются рано, с первыми петухами.

Рано еще, совсем еще рано. Шапки на крюке приветствуют меня — надо идти.

Меня еще нет. Я не сделал еще первых шагов своих, не прикасался ни разу к дверной ручке, в утренней ро-се не распевал ни разу.

Я и солнца еще не видел. Знаю, что оно восходит ранним утром, между третьими и четвертыми петухами — или между какими-то другими петухами, может быть, я перепутал — во всяком случае, час этот близок, ибо мужчины во сне уже храпеть перестали, зарозовели занавески на окнах.

Я переступаю через свой первый порог — из чего-то смутного, что невозможно и вспомнить, из чего-то зыбкого, как бы и не существовавшего, через порог, в утренний туман. Это мое детство.

Солнца нет еще, прохладно и зябко, дорожка уводит в туман. Там, в белизне тумана, первым запечатлевается во мне колодец. Значит, самый первый путь от порога ведет к колодцу. Это я запомнил. Слева стоит рябина, справа липа, дорожка упругая, утоптанная, зеленая трава по краям, и нет пока еще другой дороги.

В колодце вода. Я заглядываю внутрь — где-то там, в глубине, поблескивает вода.

Я зову: «А-а!» Эхо откликается, и звучит, и поет — словно хор Мелигайлуса.

Над колодезным срубом странное подобье качелей. Качается ведро. Кто им черпает, если нет вокруг ни души? Кому нужна она, эта вода, там, в темной глупине?

И тогда открывается дверь и выходит мать, и она говорит:

— Скоро поднимется солнце. Скоро станешь ты сыном моим.

\* \* \*

Наденьте рубашку белую и пишите утрамн.

Пишите в юности, мало кому удастся чувствовать и любить до последнего дня.

Наденьте рубаху белую и копайте землю.

Наденьте рубаху белую и почистите своей матери туфли.

Наденьте рубаху белую, когда нет гостей у вас в доме. Оставайтесь один. Радуйтесь сами себе.

«Когда остаюсь один, чувствую себя бесконечно взволнованным, будто попал внезапно в общество людей выдающихся, красивых и знаменитых» — так сказал какой-то мудрец.

Наденьте рубаху белую, пока вы молоды, для нее пишите, для молодости.

Она приходит с бабочками в косичке. Она сопрано из школьного хора. На ней белые туфли. Что-то случилось. Что-то произошло с ветвями орешника. Вот ты ударил, и желтой пылью дымится орешник. Случалось ли это прежде?

Перед солнцем, перед солнцем падал ли ты на колени? Я — дерзновенный язычник, падал перед ним на вершине белой, среди ветра и снега, и солнце горело в глазах моей милой возлюбленной.

О великое солнце, будь благодарно моей матери и

отцу моему, которые меня наделили любящим сердцем. Будь благодарно матери и отцу ее. Руки у нас теплые, друг друга мы разбудили, друг друга мы пожалели, зрячими стали.

Сколько времени это продлится? Долго ли будем зрячими? Покуда Григ наигрывает о Сольвейг, покуда не кончит — до той лишь минуты! Покуда лососи поднимаются против течения Амура, чтобы мелькнуть в ручьях уссурийских и оставить икру золотую в песке, — до той лишь минуты?

Твои пальцы прозрачны, я вижу сквозь них и солнце, и кровь пульсирующую. Золотая икра и серебряные лососи в крови твоей. Сколько это продлится?

Наденьте рубаху белую, покуда вы молоды. Копайте землю. Так копайте, как никто до вас не копал.

• Все живущее жаждет тепла. Но не каждому дано чувствовать и любить до последних дней своих.

• Ваши руки теплы, у кого-то руки замерзли. Кто к кому приблизится первым?

\* \* \*

Обойти вокруг... Не имеет значенья — кого или что, цветок или море. Цветок или море одинаково велики. Не бежать прямо в море, не брести сквозь цветок, а рядом идти, вокруг обойти, рядом остаться, близко.

Море днем наполняется светом, который дает ему небо. Ночью море теплом наполнено, которое дал ему день.

Летней ночью иду возле моря и чувствую — от него исходит тепло. Я шагаю вдоль кромки у берега, руки раскинув, как крылья, и одна у меня рука в полном тумане земном, а другая над морем.

Это и есть именно то, что я называю близостью.

Именно это.

Ветреной ночью иду вокруг моря. Волны приходят

оттуда, из темноты, я их слышу, но откуда не вижу. После слышится этот короткий всплеск, и на миг мне видится яркий блеск — белая черта на отмели, словно ряд смеющихся зубов, и снова гладкий песок, и вновь темнота. Нет ни дали, ни берега, одна темнота, и снова короткое это мерцанье и всплески. Ряд смеющихся белых зубов. Близость моря.

Приходилось ли вам ночью искать на лугу стог сена или скирду?

В темноте ступаешь по лугу, вытягиваешь руки, чтобы почувствовать ими, откуда идет тепло. Делаешь несколько еще шагов — это как в детстве, в детской игре, когда ищешь какой-то предмет, спрятанный остальными, и в зависимости от того, ближе ли ты к цели или дальше, тебе говорят — тепло, горячо, жарко...

Вот ты протягиваешь руки куда-то влево и чувствуешь, как оттуда исходит тепло, большое, словно стог сена. Прежде чем войти в это тепло, я обхожу вокруг стога, вдоль невидимой границы, границы его святого нимба — границы, где кончается его излученье.

Повар двигается по кромке котла, по кромке тарелки. Для него еда — это не только блюдо, наполненное до края, но и этот сугроб аромата над блюдом, маленькие вихри запахов в небесах его кухни.

Порой мне бывает трудно впервые войти в незнакомый дом. Будто вламываешься в непонятную чью-то душу.

Тогда я сперва обхожу вокруг дома.

У каждого дома свое излученье, свой ореол. У иного совсем незаметное излученье, небольшое — лишь у окна, лишь у дверей. А от других домов оно льется свободно и сильно, сквозь заборы и стены, на многие километры.

Я обхожу вокруг дома по невидимой границе, где начинается близость дома.

Мощное излученье исходит от дома, где водятся пчелы. Он льет свое излученье до той далекой черты, ку-

да залетают пчелы. Это места большого целебного излученья. Я бы сюда приводил детей — пусть спят здесь после обеда.

У других домов излученье поменьше. И все же, когда приближаешься к дому, ты слышишь, как закудахтала курица — наверно, снесла яйцо. Я ее слушаю и понимаю — как же, как же, не может она оставить его себе, это чудо, гордость ее, ибо и вправду такое свежее оно и рыжеватое, и пестренькое, и желток его, право, красивей, чем апельсин.

Пока еще в дом не вхожу, стою у сарая, где рубят дрова. Здесь царит излученье лесное, но запах коры и опилок — это последняя песня деревьев, а из трубы уже поднимается жертвенный дым.

Близость дроздов на березе, близость аиста на дубу, близость ласточек под крышей, близость пионов под окнами.

Постепенно мне дом становится близким, и тогда я вхожу.

Ребенок еще не родился, но он уже близко.

Ты уже близко, и скоро тебя я увижу.

Приближаться.

Приблизиться.

Быть вблизи.

\* \* \*

**Можно уйти на минутку?**

Мне разрешили, и я вернулся только под вечер. Я не лгал, не обманывал мать, не хотел обмануть, просто забыл обо всем, ибо то, что я встретил, было сильнее меня.

Море было сильнее, дюны были сильнее, и от всего этого невозможно было оторваться.

О, это ощущение свободы, первобытное, голопузое!

Я забыл вернуться к обеду, забыл, что нельзя с огнем играть в зарослях вереска, забыл, что нельзя дать

другому по носу, если он разрушил песочную твою пирамиду.

Я вернулся под вечер, голодный и грязный, клятвенно обещая никогда так больше не делать.

Но на следующее утро вновь я увидел комнату, где все мне было давно знакомо и не вызывало уже моего любопытства, и мне стало жаль себя бесконечно.

Я видел, как куры уходят на соседскую половину и обратно не возвращаются. Будто бы там червяки не такие, как здесь, или помидорные грядки, в которых так хорошо покопаться, чем-то отличаются от наших. Чего они туда лезут?

А они лезли. Соседские ребяташки гоняли их и швыряли в них камни, а они, куры, все равно лезли.

Наверно, и тот петух, что вел их в чужой сад, тоже подумал — только на минутку. А малина там была красная и невысокая, так что достать ее клювом было нетрудно, и колодец там был ярко-зеленый и непохожий на наш, а вокруг цветочных клумб не было натянуто никакой сетки.

Однажды я не вернулся.

· Может ли капля, оторвавшаяся от сосульки, сказать «на минуточку»?

· Может ли на минутку улететь стрела?

Так ушел я однажды.

Так уходит теперь Она.

Жестоко? Наверно. Но в этом, увы, ничего нам не изменить.

Я знаю мгновенья, длинные, словно день, и дни, короткие, как мгновенья. Мне тоже бывало трудно остаться — с корягами и с камнями в ручье, — я двигался вместе с ручьем.

Теперь сам я камень, и Она сидит на теплом моем боку и в воду глядит. Тепло светит солнце, липы цветут. Она чувствует, как вода течет по ногам, и щекочет Ей ноги, и течет, и отсвечивает в волосах Ее и глазах, и сейчас Она встанет и скажет:

— Можно уйти? На одну минутку...

Я знаю, что это значит. Она вброд перейдет на тот берег. Там сидит на цветке мотылек. Он поднимается ввысь, полетит по-над берегом, полетит по теченью и против течения — не все ли равно.

Нет, не может капля оторваться от сосульки лишь на минутку. Снег от неба. Стрела от лука. Лишь на минутку.

Нет, не может.

\* \* \*

Полный стакан перельется через, полная кружка пенится через — перед приличным человеком и ставить ее неприлично.

Был я дрожжами, и встретился я с дрожжами, и не ведали мы, что нам друг с другом делать, и не ведали мы, что мука нам нужна.

А ведь было же мне известно, что дрожжи никто не ест, человек ест хлеб и пьет пиво, а дрожжи он есть не станет, покуда они не нашли муку свою. Значит, надо было и мне раствориться в воде и смешаться с мукою. Только так.

До чего же глуп я был — хотел, чтобы просто так меня ели, меня, чистые дрожжи. Чтобы ели меня с жадностью, чтобы слопали меня сразу, вместе с бумагой, в которую я завернут.

О вечные излишества, вечные слишком и чересчур!

Море слишком огромно. Было бы оно не таким огромным — может, и не бушевало бы так, и берегов не рушило.

И горы высокие слишком. Не потому ли рождается в них одиночество? Горные обвалы и лавины в горах — несомненный знак того, что и горы хотели бы стать поменьше.

В городе ли, в деревне — всюду встречаю людей, которым больше дано, чем следовало бы.

О излишество гнева! Почему ты не можешь совладать с собой? Слишком много хочет кулак твой, а язык твой ядовит, как змея.

А излишество любви? Что колотит оно в двери, которые не отворяются? Зачем несет оно розы тому, кто брать их не хочет? А оно несет.

Вот идет человек по улице, и буря гудит в нем слышимая. Катятся волны, никуда не убегая. Ибо ни берега нет, ни камня, о который можно разбиться. Долго ли может бушевать буря, долго ли может человек оставаться морем?

Идет по улице гора. Золото в ней, в горе, и всякие там минералы и драгоценности. И ключи клокочут горячие. Какая равнина попросит ее остаться?

«О, разрушь меня, о, взорви меня,— она просит,— и сровняй с землею! С твоими стопами сровняй меня! Отопри ключи мои»,— просит.

Тихо-тихо так просит, про себя просит.

Идет по улице гора, и не знает никто, что может из нее в любое мгновенье извергнуться огонь и лава.

Женщина упадет на колени, она потеряла гордость, скажете вы.

Мужчина приносит розы, но их не принимают.

И будет пить человек и безумствовать, и наделает всяких глупостей, ибо море слишком огромно и гора чересчур велика.

А ведь всего-то и нужно немного — лишь одна мера муки для дрожжей, лишь одна лопата или один лом для горы, лишь один камень, о который волна разобьется.

\* \* \*

Многие радости меня миновали. Так же, как и вас, наверно. А ведь иные из них вот они, протяни только руку.

Взять хотя бы ни с чем не сравнимую радость, которую мы испытываем оттого, что помогли кому-нибудь. Радость помощи.

Вышел я из дому по белой дороге, чтобы остановиться в каком-нибудь месте, где можно хоть чем-то помочь кому-то. Было у меня время отпуска, деньги отпускные лежали в кармане, всего мне вроде хватало, а все же хотелось чего-то, чего не вкусил я доселе.

И вот вышел я из дому по белой дороге, и ни ног своих, ни рук, ни времени своего нисколько мне не было жаль. Очень помочь хотелось.

Первое открытие, сделанное мною,— люди порою просто не верят, что вот так, ни с того ни с сего, какой-то там прохожий неведомый подойдет и вдруг поможет просто так, без всякой корысти, неизвестно зачем и почему.

— Не надо, не надо,— говорят они поспешно,— что вы, что вы, да уж мы сами как-нибудь.

Иной из них простодушно скажет:

— Нам ведь заплатить-то вам нечем.

А иной и вовсе сердито буркнет:

— Ступайте своей дорогой, и без вас обойдемся.

Можно, конечно, и так поступить: где-нибудь на краю луга взять себе грабли и сказать тихо: «Очень мне вам помочь хочется». И, не дождавшись ответа, приступить к работе.

Если тут целая семья работает и есть в этой семье девица одна, а то и две на выданье, тогда всем понятна будет причина появления этого незнакомого молодого человека. Но ежели и такого соблазна нет, тут уж никто не поймет в чем дело.

Сперва никто ни слова — мол, мало ли чудаков на свете, мол, самому скоро надоест и уйдет себе с богом.

Но вот уж один стог стоит, второй начали, и тут уж на тебя поглядывают с любопытством — неужто не уйдет?

Нет, не уходит, охапку за охапкой тащит, что за странный человек.

Тут ты замечаешь, что кто-то из них, старик какой-нибудь или парень, достает из-под куста бидончик со скабпутрой\* и пьет себе неторопливо.

Ах, как хочется пить! Неужто тебе не предложат напиток?

Ты ощущаешь, как эта звонкая прохладная жидкость приятно холодит твой язык и перловые крупинки, словно холодные кузнечики, воркуя, уплывают вниз — и от этого еще больше пить хочется. Просто нестерпимо хочется пить! Интересно, что там, в этом бидончике, — может, прохладный морс, в студеной колодезной воде растворенное варенье из крыжовника или малины?

Тот, кто пил, ставит бидончик обратно под куст. Вся жара, весь зной июльский пламенеет у тебя во рту, сердце раскалено, оно ждет, капля пота течет по твоей щеке, как слезинка. Если бы кто-нибудь хоть одним глазом глянул бы сейчас на тебя и увидел, до чего же сильно тебе хочется пить! Вот оно, это великое мгновение, мгновение испытанья и проверки достоинства человеческого, и вообще человечности, и вот сейчас ты увидишь, чего ты стоишь в их глазах и достоин ли ты их морса и их скабпутры, да и они — достойны ли они твоего уваженья. Теперь уже сердце твое колотится так сильно не от жары, а от этой волнующей тебя мысли — предложат или не предложат.

И тогда кто-то произносит негромко:

— Эльвира, предложи и помощнику нашему попить, если хочет.

И ты пьешь. Это ни с чем не сравнимая курземская скабпутра. Белые комочки мигом проникают в тебя, оседают где-то в области сердца и машут крылышками, словно маленькие белые ангелы. Сердце начинает стучать ровнее, спокойнее и уверенней, и ты уже сам под-

---

\* Национальный освежающий напиток из молока.

смеиваешься над собой — и с чего это ты так разволновался!

Да, теперь ты принят. Хоть и считают тебя, верно, чудаком, а все-таки тебя поняли. Они приняли твоё дружелюбие и приняли твою помощь, и когда будет уложена последняя копна, тебя пригласят к себе в дом, в полдник за стол тебя посадят, и если собака на тебя залает поначалу, то её утихомирят, а если тебе захочется, ты сможешь и на сеновале переночевать. Постель тебе дадут и паспорта не спросят, разве что попросят, чтобы не курил. Где-то там внизу будут сопеть коровы, и во сне тебя окружают те самые белые комочки скабпутры, и будут они размахивать крылышками и петь над тобой, и, когда ты проснешься, будет уже утро, а те, кто пел над тобою во сне, окажутся обыкновенными пухами.

Но может и так быть, что никто тебе на том лугу попить не предложит. Просто не сочтут они твою помощь достойной их скабпутры. Может быть, далека им добродетель гостеприимства, может быть, бьется в груди у них жадное кулацкое сердце. И будешь ты просто как батрак для них, как чужой — ведь и правда, не совать же бидончик в руки всякому встречному-попечечному!

Ну что ж, ты поймешь их тоже, и в этом понимании тоже будет твоё обретенье. Иди себе дальше и помоги тому, кому надо помочь!

\* \* \*

Посадил я на той неделе куст ревеня — посадил его посреди улицы между двух белых линий, начертанных на асфальте для безопасности движения. Движение у нас в городе порядочное, жара порядочная, люди возбужденные и нервные порядочно, а я сидел себе под

широкими прохладными листьями ревеня — наблюдал и изучал.

Со стороны все виднее — людям не хватает места просто потому, что они торопятся. Оттого что они спешат, времени им тоже не хватает. Кажется иногда, что сталкиваются они просто нарочно.

Когда мне надо спешить, я не спешу. Я не сталкиваюсь с атомом, потому что в молекуле вполне достаточно межатомного пространства. Известно ведь, что галактика может свободно пройти сквозь другую такую же звездную систему, если каждая звезда в отдельности, двигаясь в межзвездном пространстве, не натывается на другую — так же, как игральные карты, когда мы их тасуем.

Я опасаясь задеть соседние атомы — пробираюсь в межатомном пространстве. Всевозможных пустот на свете вполне хватает. Странно, что люди их не ищут, а вместо этого толкуются друг возле друга и друг на друге.

Итак, сижу я под листьями ревеня и думаю. Несутся куда-то потные и разгоряченные в этом горячем зное. А ведь мог бы каждый из них посадить на улице куст своего ревеня и сесть, чтобы перевести под ним дух. Да времени все не хватает.

Ну а пробовали вы хоть однажды?

\* \* \*

Картины — это тайные сейфы и потайные двери, ведущие куда-то. Я никогда не стираю пыль с картинных рам у себя дома. Едва разойдутся гости, принимаюсь разглядывать следы на нижней кромке рамы той или этой картины.

Ну конечно, кто-то здесь был! Один, двое, нет, кажется, трое.

Один залез и уселся здесь, на краю, курил, бродил все вокруг да около и, никуда не попав, вернулся обратно.

Второй дошел до того вон камня, пытался сдвинуть его с места, следы его еще вполне различимы на том вон холмике возле кротовой норки, он смотрел через щель в сарай и, ничего не увидев, вернулся допить свой кофе.

Третий долго ходил и искал вон там, в правом углу, он опрокинул камень и тоже исчез куда-то. Словом, в тот момент, когда мы рассуждали о том, есть ли какая-нибудь идея у Паула Путнынша в «Золотой богине»,— его среди нас уже не было.

Долго я изучаю, как же он шел обратно. Но следов никаких не видать, все краски на своих местах, не поврежден ни один мазок. Не обнаружено никаких следов также и на краю рамы.

Позже звонит мне его жена — не видел ли я Язепа. Видел, отвечаю. Он, по-моему, еще в картине, еще не выходил.

Она приходит ко мне, и мы с нею вместе смотрим и ищем — под каким камнем? Ни звука. Зовем его — не отвечает.

А вчера поливал я цветы и вдруг вижу: зашевелились камни на картине, и вылезает оттуда Язеп.

«Ты,— говорю,— видно, спутал картину с реальностью».

Он отвечает: «Кто перепутал? Я? Сам ты живешь в картине. Даже не знаешь, что там, за сараем. Я пошел за вещами — хочу перебраться туда. Жену мою ты не видел?»

Через три часа с четырьмя чемоданами оба они в картине уже за сараем.

С той поры во мне поселилось какое-то смутное беспокойство, все мне кажется, будто кто-то меня окликает. Иногда я отчетливо слышу голос Язепа, и снова становится тихо.

Может, и вправду сам я живу в картине, сам я все перепутал?

Терпенье мое лопнуло, я взорвался, я вышел из себя и взвился под потолок. Ничего меня так не раздражает, как все эти приборы и механизмы. Десятки раз давал себе слово, что никогда к ним больше уже не притронусь. Все эти винтики и колесики просто чертовски хитры — то они крутятся, то не крутятся, вращаются, когда не надо, и не двигаются, когда надо. Невозможно понять, какой из них все же должен вращаться, а какому положено оставаться неподвижным...

В кои-то веки решил я показать гостям любительские свои фильмы, приготовил проекционный аппарат — ну-ка пусть он вылупит горящий свой глаз и швырнет на стенной экран какого-нибудь скачущего конягу, охапку сена или вишневое дерево! Пусть швырнет он на экран вишню Казданги, да так, чтобы угоды брызнули, и красный сок пускай себе стекает с экрана. Пусть какая-нибудь корова бредет по моим обоям, и пусть ее вымя раскачивается, как соборный колокол. Пусть послушают они звон-перезвон коровьего вымени, звенящего словно к вечерне.

Да будет тишь над землей и покой,  
да будут добры ваши помыслы!..

Но глаз у аппарата погасший и мутный, как у покойника, и ни одна кнопка, ни один рычажок оживить не в силах.

Вот тогда-то я и вышел из себя и взвился в воздух. Ах эта капризная, нервная, неповинующаяся продукция! Ах эти дебилные глаза, эти воровато прячущиеся, непонятные мне рычажки! Где их пресловутая точность, где?

Я падаю на стул, и разговаривать мне ни с кем неохота.

— Не работает,— коротко произношу я.

Говорить этого, конечно, не следовало, ибо тут-то все и началось:

— Не работает? Ну и ладно.

— Не работает? А что же, нельзя починить?

— Может, лампа перегорела? Ты проверил?

— А предохранитель? Может быть, надо переменить предохранитель? Эдвин, посмотри-ка ты, ты ведь лучше понимаешь в этом.

— Не надо, не надо, не надо! Не надо портить человеку нервы!

Чувствую, что мои предохранители вот-вот уже выйдут из строя.

— Уж такой он у меня, как видите. Ну никак нам не везет с этой аппаратурой. Сколько их у нас, всяких этих аппаратов,— ни один не работает.

Именно этого-то никак я не ожидал. Ибо был у нас с нею уговор, что в подобные минуты она должна подойти ко мне и шепнуть мне на ухо одну из тех десяти заповедей — что-нибудь по поводу невроза. Мне бы вполне достаточно было хотя бы подобного напоминания:

— Знаешь, невозможно достигнуть совершенства во всем. Некоторые люди находятся в постоянном страхе лишь оттого, что им кажется, будто они хуже других, их постоянные старанья быть на уровне самых высоких требований часто вызывают весьма болезненные срывы. Способности любого человека, увы, имеют границы...

Этого было бы, наверное, вполне достаточно. Не понимаю, почему было ей не сказать мне все это.

Теперь же я чувствую: лес, и поляна с красной брусничкой, и весь покой и спокойствие мира — все это куда-то стремительно уходит от меня. Стул, на котором я сидел, вцепился в пол когтями всех своих ножек, подобно орлу, и я вцепился в него, и так мы держались, но гнев мой, бушевавший во мне, врезался в потолок, словно ракета, и жег меня невыносимо.

Тогда она сказала:

— Уж такой он у меня, как видите. Теперь он взорвется в воздух. Ничего невозможно сказать ему.

Какие-то обрывки заповедей прозвенели в моей голове, как выбитое стекло. Только не поддаваться гневу! Но было уже поздно. Я взорвался.

Глаза мои, выскочив из орбит, пронеслись сквозь стену, упали на соседскую книжную полку рядом с портретом Эрика Адамсона и остались там гореть перед ним, словно две лампадки. Руки мои воткнулись в цветочный горшок, словно два кактуса, и тут же покрылись иглами, и каждый мой кулак пылал, словно красный бутон, который вот-вот лопнет, распираемый силой. Левое мое ухо, словно устрица, влетело в рот перепуганной гостье, и она его проглотила от страха. Язык мой, распутившись, как магнитофонная лента, стал невыносимо орать.

Тогда жена взяла мою голову и спрятала в холодильник.

...Когда гости ушли, я вышел в переднюю. Вешалка была пуста, висело на ней лишь мое пальто, осевшее, смущенное, глупое и пустое. Я чувствовал себя распавшимся на части, измельченным, раскрошенным в порошок.

Я начал себя собирать. Это было куда труднее, чем выйти из себя и взорваться. Руки ко мне не возвращались — мол, слишком я их всегда напрягаю, слишком их мучаю, и они оттого затекают. Глаза ко мне не возвращались — им, мол, куда приятнее глядеть на мир, будучи окруженными покоем и любовью поэта Адамсона. Мол, слишком я скован, слишком завишу от разных вещей, от мелочей, от мелких вещичек. Слишком, мол, я завишу и от других людей, и потому, дескать, так скован, так несвободен.

Долго я умолял свои руки, и ноги, и свои глаза, чтобы снова собрались они вместе — взяли, наконец, себя в руки, собрались, сосредоточились...

Так я себя собирал, по частям, по кусочкам, и, когда снова почувствовал себя человеком, взял я лопату и вскопал гостиную, вдумчиво и неторопливо, с удоволь-

ствием ощущая, как рассыпается каждый комок дерна, и приветствуя каждого червя, копошащегося в земле, и тщательно измельчая почву затоптанных старых тропинок. Затем посередине я выкопал неглубокую яму и посадил дерево.

Прежде чем пойти спать, я прикрыл свою пишущую машинку — вдруг нынче будут заморозки. Спал я глубоко и сладко, как давно уже не спал, потому что это и вправду замечательнейшая из песен — «Сажал я черемуху...».

«Сажал я черемуху посреди горницы...»

\* \* \*

Не раз уже я имел возможность убедиться, что некоторые не принимают меня всерьез. Дескать, не умею я утверждать, убеждать, отстаивать и бороться.

Кто знает!

Просто меня утомляет величественность, величественность и величавость. Великое разглядеть я стараюсь в малом.

Я часто бываю на рынке. Меня хорошо там знают. Когда я стою у бочек с квашеной капустой, я вижу капустные поля, синие капустные поля, не зеленые, а синие. Синие капустные поля, синие, как поле подснежников — воистину это страсть моя.

О. цветочный рынок! О уголок красоты и любви, любви и продажи на огромной площади мира.

Вот розы. Розы распустившиеся и розы в бутонах, идущие, ожидающие своего часа.

Почему так редко покупают распустившиеся розы, раскрывшиеся во всей своей красе, почему чаще берут нераскрывшиеся бутоны?

Сколько раз ни дарили мне розы, думаю всегда об этом. Ни одна из тех, кто продавал цветы, не ответи-

ла мне на это. Одной было некогда, другой казался мой вопрос несерьезным, ну а многие и вовсе не понимают душу цветов — они просто зарабатывают деньги.

Но одна из них была как трава возле забора, согретая полдненным солнцем. Она была как сама земля, на которой растут розы. Я спросил у нее, и она ответила:

«Люди — они знают, что делают. Есть среди них и такие, которые видели, как трава растет, как солнце по утрам ликует. Если тебе не жаль своего времени, ты тоже увидишь, как роза расцветает».

Я послушался ее, я не жалел больше времени. Как раскрывается роза, видеть мне еще не приходилось, но я уже видел, как медленно разворачивается свернувшийся в комок ежик и идет себе своей дорогой, видел, как гриб растет, видел любовные игры дятлов и скоро, скоро увижу, как раскрывается роза. Только времени на это не надо жалеть!

Гладиолусы — вот они почему-то кажутся мне самыми сильными, самыми жизнестойкими из цветов, которые видел. Молодые и полные — весь ряд этих цветков до последнего бутона на верхушке — как целая жизнь. И кипенье сока в стебле не затихает, пока, постепенно укорачиваясь, совсем не окончится этот ряд цветущий, пока не окончится в самом последнем цветке — это материнская сила. Не всякой женщине дано так цвести.

Лето — праздничное гулянье, карнавал цветов. Отовсюду приезжают цветы показать себя, из каждого сада. Они счастливы тем, что живы — оттого и ликуют. И каждый цветок ищет, кому он понравится, и каждый стебель ищет свой кувшин или вазу. Тысячи их покупают, и тысячи отцветают тут же, в этих ведрах, горшках или банках. Никто этого не замечает, никого это не беспокоит. Ибо так и должно быть.

Многие ли из них найдут того, кому понравятся на этом летнем ночном карнавале? Сколько из них от-

цветет в это лето не срезанными с куста, не взятыми чьей-то рукою — отцветет, чтобы следующей весной распуститься снова? Но и бесплодное, печальное это цветенье — вплоть до самого увяданья — разве не есть оно тоже цветенье, может быть, даже самое красивое в грустном своем просветленьи?

Мне нравятся старые девы. В них постоянно что-то цветет. Вы замечали — молодые замужние женщины отцветают раньше, чем пожилые и незамужние? В душе у них что-то долго цветет, и лето — праздничное гулянье, карнавал всех цветов.

А вот маргаритки — женщины легкого, я бы сказал, поведения. О, эти знают себе цену — смотрите, как дорого они продаются! А как развязно подмигивают, стереж и начисто вытравив свою естественную красоту при помощи средств химических, наинovelейших! Нет, мне они не нравятся определенно!

А впрочем, не знаю, и может быть, я сужу их слишком строго, может быть, они просто молоды и глупы. Просто лето — праздничное гулянье и карнавал всех цветов, и всем хочется плясать на этом карнавале.

\* \* \*

Я отправляюсь на телеграф. Хочу послать тебе того маленького человечка, о котором мы с тобой говорили.

— Такую телеграмму принять не можем, — говорят мне. — Перепишите!

Я переписываю и в конце снова рисую человечка, на этот раз рисую его лежащим — чтобы удобней было уложить его на телеграфную ленту.

— Очень прошу вас, пошлите, пожалуйста, с человечком!

Но мне отвечают:

— Такую телеграмму принять не можем.

И все-таки на каком-то телеграфе, когда я совсем

уже потерял надежду послать тебе этого человечка, после многократных «что такое!», «ишь чего захотели!» — я еще раз попросил, еще раз набрался храбрости:

— Ну, пожалуйста, пошлите с человечком!

Мне ответили:

— Человечка телеграф не принимает.

— Но ведь я же за человечка заплачу отдельно.

— За человечков не платят. Их или шлют бесплатно, или вовсе не посылают.

И я понял, что она понимает, о чем я с ней говорю.

Она отправила мою телеграмму, и пусть мой человечек так и остался на квадратике белой бумаги, когда все слова уже улетели туда, куда были отправлены, — теперь я здороваюсь с каждой женщиной, хотя бы немного похожей на нее. Она меня поняла.

В мире полно самых сложных и непонятных связей. Очень сложных и тонких. Мы знаем из них немногие и пользуемся лишь немногими. Самые обычные связи, простейшие, элементарные. Дерево — корни — земля. План — работа — зарплата. Он — она — свадьба — ребенок. Или еще проще: он — она — ребенок.

— О чем думает нож?

— О резанье.

— О хлебе.

Вот как все ясно и просто!

— О чем думает лодка?

— О плаванье.

— О веслах.

Ах, до чего же устойчивы эти привычные связи!

Но вот что ответил мне один человек, имеющий об этом свои представления.

— О чем думает нож?

— О лампочке.

— ?

— Конечно, о лампочке! Она ведь такая яркая и такая круглая...

И щелкнул от удовольствия языком.

Случаются дни, когда вещи можно перетасовать, как карты, привести их в самый нелепый порядок,— и они группируются в самых неожиданных для тебя комбинациях, о которых ты не имел ни малейшего представления,— шапка, твой гордый головной убор, опрокидывается навзничь, и кто-то бросает в нее серебряную монету; некий мужчина электронасосом перекачивает воду из одного озера в другое, а ты малым наперстком перетаскиваешь эту воду обратно, и оба вы одинаково сильны, наперсток торжествует победу над электронасосом; камень перевертывается брюхом своим к солнцу; красавица зубная щетка тщательно чистит зубы некоему топору, он блаженно улыбается, а острая пила умирает в одиночестве.

Все это лишь поначалу кажется непонятным. Но в жизни все это существует и все это можно увидеть. Если такие дни, когда все это можно увидеть, — невидимые связи между вещами, казалось, никак не связанными между собою.

\* \* \*

Ничто в этом мире не дается нам сразу. Странно устроен мир. Подожди, говорят на каждом шагу, подожди, подожди.

Жду постоянно и трудно. Жду, когда подойдет троллейбус. Жду, когда сварится картошка. Жду, когда попаду на небо. Но и тут мне говорят: не спеши, подожди, сперва свое проживи на свете.

Мир живет ожиданием. Мать ждет ребенка, девочка ждет любви, заслуженный ждет ордена, страждущий ждет избавленья. Подожди, потерпи немного. И когда ты терпишь, время останавливается — превращается в ожиданье. Каждый отрезок времени становится таким праздным ленивцем. Он ждет следующего мгновенья, как бы пятясь назад, задом наперед.

• Чтобы приблизиться, надо идти навстречу, а не ждать.

Говорят — подожди, утро вечера мудренее. Не скрывается ли за этим ленивец — мол, не делай сегодня того, что можно сделать завтра? Так откладывается завтра на еще один день. Разве будущее — это пятящийся задом наперед огромный зеленый рак, ползущий нам навстречу?

Мы придем к будущему или будущее придет к нам?

Подожди, будущее придет. Подожди, пока футбольные ворота побегут навстречу мячу и мишень подойдет поближе, выпрашивая себе пулю. Подожди! Потерпи! Не стремись! Жди терпеливо, и твое время придет.

Но так придет к тебе только гроб твой. Уж он-то придет. И вынесут тебя вперед ногами.

Благое приходит с ожиданием, говорит пословица.

Нет уж! Чтобы приблизиться — надо идти навстречу, а не ждать!

\* \* \*

Есть у нас в Латвии одна весьма занятная традиция. Людям на радость. Для человека. Чтобы порадовать.

В канун новогодья (или перед женским днем, в первые дни марта) разыгрывается лотерея дней рожденья. Каждый имеет право тянуть билетик, и если ты вытащишь счастливый — газеты и радио объявят, что такого-то числа будет отмечаться твой день рожденья.

Все уже знают, что в этом году, скажем, выиграли трое граждан — инженер цеха аппаратуры низкого напряжения Н., пенсионерка С. и какая-то девушка из Вильяны. Или другие трое. Их дни рожденья будут отмечаться в Риге, на огромной сцене.

Тебя будут чествовать и поздравлять целые делегации, даже весьма высокопоставленные лица — лишь за то, что ты есть. Что ты хорошо работаешь, что ты чест-

ный человек. А если ты и не работаешь, и никакой не особо честный, комиссия внимательно разберется и найдет в тебе все-таки что-то хорошее и достойное похвалы. Ибо в мире нет такого, даже самого маленького человечка, которому мы не могли бы стать товарищем, другом и братом,— что-то в этом роде, кажется, сказал Франсуа Вийон.

Итак, что-то в тебе все же есть, похвалы достойное. Ну, скажем, ты ни разу не оставил в поле граблей зубьями вверх. У одного — могучие мускулы, у другого — хороший вкус. Один настолько сообразителен, что смеется еще до того, как кончили рассказывать анекдот, а другой настолько последователен и принципиален, что даже и бешеной собаке не уступит дорогу.

Будут тебя чествовать и вспоминать, что же ты хорошего сделал, и скажут тебе, что жизнь твоя не была напрасной. А чего же нам надо больше — пусть только скажут тебе, что чего-то ты стоишь!

А ты ведь и вправду чего-то стоишь! И если друзья твои и родственники этого не скажут — тогда комиссия, наведя необходимые справки, все это скажет в день твоего юбилея и объявит для всеобщего сведения — всем, всем.

Разумеется, если тебе не хочется таким образом праздновать свой юбилей — так, словно ты какой-нибудь знаменитый писатель или художник,— ты можешь в лотерею не участвовать и отмечать его дома, с бабушкой, с женой и детьми. Я говорю лишь о тех, кто будет участвовать в лотерею. В конце концов, юбилейный наш календарь станет от этого красочней и богаче. Не одни ведь ученые, художники или другие люди стоят того, чтобы все с восхищением глядели на их почтенную старость.

Вот почему у нас и существует эта традиция, эта мудрая лотерея — пусть же случай поднимет тебя на своей ладони, поставит тебя на сцену и скажет:

— Вот он, смотрите, молод еще и не отличился ни-

чем покуда, или стар он и всеми забыт, или вовсе он обыкновенный, как и все остальные в нашей деревне,— придите же и поздравьте его, стоит ведь он чего-то.

\* \* \*

С которого этажа обращаемся мы друг к другу, на каком этаже разговариваем?

Я бы разделил разговоры наши — по этажам.

Вот этаж, где слепой говорит со слепым, глухой говорит с глухим, едящий с едящим, спящий со спящим. Разговоры о погоде и о болезнях, о том, ах как умен наш ребенок, и о том, ах как эта соседка Юле нехорошо поступила.

Почему иным собеседникам никак не закончить беседу, начнут — и умолкнут? Прерывается нить. О чем говорить им, если каждый из них разговаривает на своем этаже? Один говорит, к примеру, на первом, другой — на втором. Что можно сказать сквозь пол? Что можно слышать сквозь потолочное перекрытье?

Вот этаж, на котором беседуют острый ум и гибкий язык. Здесь играют в теннис мячиками-словами. Удар требует контрудара. Здесь весьма ловко подают и отбивают, гасят и блокируют. Здесь проживают ловкие эквилибристы и жонглеры словами. Здесь прячутся за словами так же, как героини Гольдони за цветочными горшками. Здесь играют в жмурки. Слова флиртуют, гласные кокетничают, согласные развлекают дам. Здесь рассказывают анекдоты. В причудливом свете поблескивает обманчивая мозаика, составленная из разноцветных слов. Это имбирное печенье едят или им украшают елку? Сладостная эта беседа — кардамон, корица, ваниль.

А на том этаже говорят хлебом. Да, здешняя речь — это хлеб, испеченный собственными руками. Слово, которое сам ты замесил и ждал, покуда бродить начнет оно. Сам его клал на лопату, сам сажал его в печь. Да,

корочка чуть подгорела, на сей раз слегка подгорела, но в квашне еще много теста, и оно еще бродит, и в другой раз такого уже не случится.

Здесь говорят и камнями. Камнями, которыми можно разбить окно, и камнями, которые укладываются в фундамент.

Здесь язык — брезент. Чтобы дождь не мочил. А если здесь говорят кружевами, то говорят здесь и спицами тоже.

...Это, конечно, не все этажи, да и последовательность у них, наверно, совсем не такая. Но знай, язык мой, что слово есть хлеб насущный и носитель энергии, носитель моей энергии, идущей к тебе.

Когда силы мне не хватит, придут ли ко мне слова твои и помогут ли мне?

Воскресят ли меня из мертвых слова твои?

\* \* \*

Учусь этому высокому и тонкому искусству — ладить со всеми. Соседские мальчишки побили моего сына — не хочется из-за этого скандалить с соседями.

Курица или яйцо? Ну конечно, курица была вначале. Курице приятно, что я ее уважаю. Но ведь и яйцо было первым — о да, я согласен, и яйцо считает меня весьма разумным человеком.

Эта картина? Ах, до чего симпатичная эта картина! Правда, с другой стороны, я должен согласиться, что не очень... Впрочем, вы меня можете убедить, и вы еще, возможно, окажетесь правы.

С одной стороны, с другой стороны. Так и этак. Вы только попробуйте — с одной стороны, с другой стороны. Не возражайте, не спорьте, когда вы входите в магазин и вам говорят, что рижского «бальзама» нет в продаже. Но «бальзам» можно достать — с другой стороны.

Согласитесь, что восход солнца так же красив, как

закат. Согласитесь, что солнце в одну и ту же минуту для одного восходит, а для другого заходит. С одной стороны, с другой стороны.

Лампа на столе — она права, но есть своя правота и у тьмы в углу. Правы и те, которые говорят — ах, как благоухает, и те, которые говорят — фу, как омерзительно пахнет. К примеру, чеснок. Или водоросли. Или лошади. Или сыр. Всякие там одеколонь.

С одной стороны, с другой стороны. Множество правд существует на свете.

• Можно сойти с ума, если нет у тебя своей, собственной правды.

\* \* \*

Чувствую, как ограничен мой разум. Чувствую некий центр, вокруг которого кручусь постоянно. Чувствую его — как корова привязь. Чем быстрее и чем беспокойней бегаю вокруг своего колышка, тем цепь моя все короче. Кружусь вокруг своего кола, все вокруг уже мною обглодано, а дальше никак нельзя.

Я и не знаю — что там, дальше. Крот из земли вылезает и мне говорит: «Правда, как славно на том вон лугу, на той вон лесной опушке?» Что я ему отвечу? Стыдно признаться, что дальше цепи моей бывать мне не приходилось. И я молча киваю головой — пусть понимает, как знает.

Но иногда, внезапно, в какое-то мгновенье сверкнет передо мною даль. Я могу войти внутрь яйца, не разбив скорлупу. Я проникаю в сейф, не взламывая его. Мир становится для меня тонким и эластичным.

Вчера еще рука моя не могла дотянуться до яблока на ветке, а сегодня я достаю его запросто. Вчера я не мог и подумать о том яблоке, что на самой верхушке, а сегодня я чувствую, что рука моя становится все длиннее и простирается все дальше.

Тогда мне становится страшно — не станет ли она слишком тонкой, такой тонкой, что разорвется, и я от-

дергиваю руку. (Не знаю, откуда он, этот страх быть излишне большим и тонким.)

Но лишь тонкое и есть большое, и нет для него расстоянья. И я опять позволяю руке своей тянуться, вытягиваться, становиться насколько возможно тонкой, насколько возможно длинной, ведь там, на той вон верхушке, — яблоко! И рука моя становится все тоньше, все тоньше, скоро она взлетит, как паутинка, в осеннее небо.

И тогда кто-то мне говорит: «Да ведь это вовсе и не рука. Это уже не рука. Разве рука бывает такую? Такою рукою невозможно тянуться за яблоком. И вообще руке не положено быть такую».

Но я-то хорошо знаю, что рука может быть настолько тонкой — почти незаметной, почти невидимой, только угадываемой. Я это знаю, и я не слушаю никого, я тянусь за яблоком, сейчас я его достану.

И вдруг я чувствую — тоньше быть я уже не могу. Это моя граница. И это ужасно больно. Я снова чувствую свою ограниченность. Если чуть-чуть, еще чуть-чуть я потянусь — моя рука порвется. И никак не достать мне того яблока на верхушке.

То же самое происходит со зрением. То же самое с обоняньем.

Мои ноздри — тончайшая скрипка. Как она играла в ту грозовую ночь, когда цвел жасмин! Явственно ощущаю запах, похожий на песню Янова дня — так пахнут увядающие листья березы.

Прекрасные песни поют мои ноздри. О дивное по-пурри из укропа и из капусты! Запах вара, запах селетки и резиновых сапог приходит ко мне с моря. Свадебные песни — от мирт. А запах увядшей хвои приходит ко мне с кладбищенских тропинок.

Все более тонкие и неуловимые запахи приходят ко мне. Я слышу, как пахнет топор, — да-да, он пахнет смолой, но и что-то еще примешивается, что-то еще — кажется, яблони он рубил. Почему?

А как пахнут капли дождя!..

(Ребенок ест хлеб с медом, и сверкающие капельки меда падают наземь...

Вишнями мы уже объелись с тобою, тебе уже лень и рот раскрыть, и я силой вдавливаю сочную вишенку в твои губы...

Однажды я выплеснул полную кружку пива в рожу кому-то, и я не раскаялся в этом...)

Все эти испарившиеся давно запахи остались в дождевых каплях. Когда идет дождь, эти запахи в ноздрях моих играют польку, исполняют ноктюрн или что-нибудь вроде старинного менюэта.

Запахи превращаются в звуки, звуки превращаются в запахи. Как поют по ночам львиные зевы!

— Ах, не может этого быть, быть не может! Это какая-то ненормальность, просто болезненное воображение!

Вы говорите, не может быть? Можете сами проверить — разденьтесь, догола разденьтесь и выходите под дождь, под его веселые струи! Разве не пахнут капли дождя и лужи — разве не пахнут они семьей и народом, человеческой жизнью?

Разве не отдает баритоном лесной боровик? А разве запах груздей — не альт, а табачок — не сопрано? А разве лисички не пляшут, как балерины?

Дальний лай собак по ночам напоминает тюльпаны.

Звуки эти тихи и тонки. Я начинал уже чувствовать, в каком месте вылезет гриб, и ждал его. Я почти уже слышал смех муравьев над рекой. Я почти уже дотянулся до елочной шишки в небе. Но на полпути испугался — а впрямь, нормально ли это?

И пришел я обратно в мир семицветный, в мир семизвучный.

До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до. До-си-ля-соль-фа-ми-ре-до. До-ре-ми-фа...

Семь. И не больше.

Все мы баночки-скляночки, пузырьки и афишные тумбы, мы оклеены сплошь этикетками и другими бумажками, как диктует обычай.

О этикетка, опознавательный знак человека!

У тебя широкое габардиновое пальто — значит, ты свой. У тебя на груди и на руках татуировка — для кого-то ты тоже свой. У тебя волосы лохматые и в руках гитара. Ты джентльмен, а ты проходимец. Свой, свой, свой...

Иных узнают по заграничной одежде, по темным очкам, по кепкам или подтяжкам. У иных — дорогие меховые шапки, которые достать нигде невозможно.

Но приходит время, и ты однажды сдираешь все это с себя и становишься чистым, как был изначально.

Долго я мучился. Я принял однажды от вас свою этикетку. Я был терпелив, я сидел за столом рядом с вами, боясь шевельнуться. Я боялся, не покажется ли кому-то, что мой галстук повязан слишком небрежно. Я боялся, чтобы мой локоть не попал к вам случайно в салат. Я боялся, что пуговицы вдруг застегнул не так, как надо (теперь-то я фигу засовываю вместо пуговиц в петлю).

Левой ножкой шаркнуть, мой мальчик, и поклониться. Приглашая на танец, нельзя проходить через зал. Даме следует руку поцеловать. Не прерывать говорящего, слушать его с уважением.

Я слушал. Стискивал зубы. Чуть ли не плакал. В отчаянье, до седьмого пота. Я боялся встать и уйти. Я боялся стукнуть его по плечу, не повредить бы суставы (у тебя, старичок, чужие слова — не украл ли ты их?), боялся упасть посередине зала, как в припадке эпилепсии, и в отчаянье дергаться, когда ты говоришь. Я боялся сказать, что кисель попал в твою дудку, — разве сам ты не замечаешь этого, когда играешь на

ней? Я боялся, боялся, боялся, а теперь говорю я — ступай-ка ты к черту!

Я был красивой, сверкающей бутылкой, и меня оклеили этикетками, и солнце не отражалось в моем стекле.

Медленно сдираю с себя этикетки. Еще ощущаю клей, оставшийся от них у меня на коже, но скоро освобожусь и от этого.

Мой пуп — всего только мой пуп, почему я должен позволить наклеить на него этикетку?

Ребенок родился голым. Ему надели на голову голубенький чепчик, если он мальчик, и розовый — если он девочка. Хотя и без этого каждому было видно, что у мальчика есть то, что положено мальчику, а у девочки то, что положено ей...

Все мы бутылки, и банки, и афишные тумбы. Всех оклеивают и будут оклеивать. Это — обычай. Это необходимость.

И все же я говорю о диалектически неизбежной необходимости — необходимости сдирать.

\* \* \*

С собою не спорят — спорят с другими.

Река спорит с берегами.

Ястреб спорит с ветром.

Один язык спорит с другим языком.

Око за око, зуб за зуб.

Но нет такого ока, которое против себя, нет зуба, который против себя.

Тот, кто не спорит с собою, — как он будет спорить с другими?

Он будет грызть. Он не умеет спорить — он будет грызть. Река грызет берега, жучок прогрызает стол, собака сгрызает кость, а человек — человека. Это великая армия грызунов — те, кто не умеет спорить с собою.

О да, я понимаю — река, одолевая порог, не может одновременно спорить с собою, ибо тогда она не одержит победу. Зуб не может спорить с собою в тот миг, когда он стоит против зуба чужого,— так победы ему не достигнуть. Око не может в себе усомниться, если хочет кого-то зажечь и привлечь,— точка зрения от этого силу свою теряет.

Ну а до! Ну а после!

Пока порог не достигнут, медленно кружатся речные водовороты — не мыслит ли там река?

Перед тем как глаза твои одержали победу над чужими глазами, не пытались ли спорить с собою?

Не пытались? Тогда ты дурак. И победа твоя одержана дураком.

Если река без водоворотов, если вода спокойна, если пиво выдохлось и люди с собою не спорят — побеждают тогда одни дураки. Несомненные. Не усомнившиеся в жизни ни разу.

\* \* \*

Неужели это так непонятно? Дареные цветы, вино, теплота человеческого тела. Дареный огонь и все остальное, что теплое. Я стоял у дверей твоего дома. Я принес тебе снежок. Неужели это так непонятно?

Первый снег у нас выпал нынче в Цесисе, а у вас, в Ауце, его еще не было. Сумею ли я донести до тебя снежок через всю мою Латвию?

Когда я набрал его в Цесисе возле трамплина, руки мои были теплыми, и, чтобы он не растаял, я старался касаться его только кончиками пальцев.

Через Амату и Карли я вышел на Псковское шоссе.

Сначала снежок в руках моих таял, но потом он стал таять все меньше и меньше, ибо в руках моих не было уже того тепла, и я радовался, что все выйдет как нельзя лучше и моя затея на этот раз мне удастся.

Иногда я брал снежок себе под мышку, когда закури-вал, а потом снова нес в руке.

Ты спрашиваешь, не мерзла ли рука моя? Нет, мне казалось, что нет ничего теплее снежка, который один человек несет в подарок другому.

Сколько тепла было в том браслете, в той розе, что тебе подарили? Сколько тепла можно успеть отдать какой-нибудь книге, или бутылке, или коробке конфет, неся их от улицы до улицы?

Я был уверен, что такое количество тепла не отдавалось еще ни одному подарку, и это мне придавало силы, и я нисколько не мерз. Я был как молодое деревце, в котором соки бурлят непрерывно. И тепло мое утекало в этот комок белого снега — до моста Лорупе я отдал уже свои руки по локоть, а перед Ригой уже полностью были отданы тебе мои руки.

Время от времени останавливались попутные машины, и меня приглашали в кабину. Должно быть, со стороны это казалось странным — идет человек среди снежной метели и держит в руке снежок. Один раз я принял приглашение, сел в машину, но снег тут же начал таять, и капли закапали на пол кабины.

— Ну-ка выбрось, — говорит шофер, — ты чего, шариков у тебя не хватает, что ли?

Больше я на машине уже не ехал, шел всю дорогу пешком. Лишь у самой Ауцы попросил я возчика одного подвести меня, ибо руки начали у меня мерзнуть. Вез он в своей повозке бидоны из-под молока, они звенели холодно и странно у меня за спиною.

И тогда пришла мне в голову мысль — не так ли точно мерз и Вейденбаум, когда всю дорогу вел свою поэзию за собою, ее, которая тоже, как мой снежок, все тепло забрала до последнего?

— Как ты думаешь, старик, не умер ли Вейденбаум со снегом в руках?

— Не паясничай! Выбрось, не то получишь ревма-

тизм,— ответил старик, и мы въехали на городской булыжник.

Навстречу мне ты не вышла, двери были закрыты, и соседи сказали, что нет тебя дома.

— Ничего,— сказал я, — я подожду.

— Вряд ли она скоро вернется,— сказали соседи, приглашая меня к себе погреться.— Она уехала в Цесис.

— Ничего,— сказал я,— я подожду.

К соседям я не пошел, потому что снег снова начал таять, руки мои стали горячими — должно быть, от волнения.

Я сошел на обочину дороги, сел на пень и стал ждать. Снег таял медленно, но неудержимо.

И тогда ты пришла.

— Что за снег в Цесисе, ну просто прелесть! Много-много, и белый такой, я, как щенок, в нем каталась,— сказала ты и взяла у меня из ладони крошечную эту льдинку и швырнула ее наземь.— Какие руки у тебя холодные!

— Да, замерзли малость!

Что мне еще оставалось!

Там, возле того пня, в том месте, куда капал тающий мой снег, выросла маленькая елочка. Маленькая, съезжившаяся, покрытая инеем.

Иней этот не таял даже и летом.

Теперь эта ель уже большая, а иней на ней все так и не тает.

\* \* \*

Учительница рисования мучается — трудно научить детей рисовать даль.

Почему так трудно найти и передать перспективу?

Что за проклятье! Куда она пропадает, эта перспек-

тива? Параллельные линии дороги снова скрещиваются передо мною, вместо того чтобы уйти в бесконечность. Стены коридора тоже пересекаются передо мной, и я врезаюсь в острый угол этого странного пересечения.

Я наблюдаю, как маленькая рыбешка плывет мимо сети — она изящно изгибается, проскальзывая сквозь ячейки, туда-сюда, туда и обратно, легко и непринужденно поблескивая, и сеть, лежащая перед нею, уходит в бесконечность.

А вот плывет мимо сети большая рыба. Она тычется мордой в ячейку сети, слишком она велика для мелкой ячейки, и она уплывает вдоль сети, и сеть для нее теряется где-то в бесконечности.

Когда лезу я — я застреваю в сети по самые жабры, я путаюсь и запутываюсь, сеть путается и запутывается, ибо я теряю ощущение бесконечности.

Обещайте мне что-нибудь! Что угодно мне обещайте, ибо обещанье — это тоже перспектива, если другой у вас нет покуда.

Люди отправляются в церковь чаще всего потому, что там им обещают бессмертье.

Обещай мне верность навечно, навсегда, на всю жизнь! Обещай мне любовь навечно — так молят влюбленные. Требуют изо дня в день — обещай мне даль! Обещай мне в этой дали меня и тебя, нас обоих, нас вместе, в этой дали на веки веков.

И даже тогда, когда никто ничего нам не обещает, мы бросаем три запасных спасательных круга, бросаем туда, вдаль:

ВОЗМОЖНО...  
НАВЕРНО...  
БЫТЬ МОЖЕТ...

Это многоточье надежды. Это тоже перспектива. Но только не та.

Сегодня я сорвал с нее бусы, и они рассыпались по траве. Я не мог видеть, как она бережет их, а меж тем каждый день кто-нибудь ей разбивает одну из бусинок.

Она делала вид, что этого не замечает — она бережет ниточку. Я не могу видеть, как бусинок становится все меньше, а она все еще украшает себя ими. Может быть, она и вправду не видит, что бусинок остается все меньше?

А может быть, просто не хочет видеть. Потому что бусы — это ее вера в свою красоту, вера в любовь, вера в красоту других. Поэтому она бережет ее.

Но бережет она только ниточку, будто в ниточке ее вера, а не в самих бусинках.

Пока она так дрожит над своей ниточкой, кто-то день за днем откусывает по одной бусинке, и когда будут откушены все, ей останется только ниточка.

Но еще ужаснее будет это мгновенье, когда нить не совсем еще опустела, но осталось на ней десяток бусинок или чуть побольше. Я не хочу видеть ее в то мгновенье, когда она будет гордиться этим последним десятком на полуголой ниточке. Не лучше ли разорвать ее сразу и нанизывать всякий раз заново, чем вот так дрожать в страхе за нее и терять бусинки — по одной, по одной, по одной?

(Терпеть не могу капли. Капли меня утомляют, убывают ли или прибывают — одинаково монотонно, одинаково печально. Кто пьет вино по капле, кто дает реку пустыне по капле? Страшная выдумка инквизиции — медленные капли падают на голову.)

Еще-еще-еще-еще-еще...  
Еще-еще-еще-еще-еще...)

Я никому никогда не говорил, что для меня она значит. Даже ей.

Болят бусинки, исчезая по одной, и совсем не болит ниточка.

Сегодня я сорвал с нее бусы, и они рассыпались по траве.

Она думает, будто я ее ненавижу.

\* \* \*

Печаль свободна.

В гневе человек связан.

Нетерпимость горька.

Лучше всего, если можешь взглянуть на мир сквозь печаль. Печаль свободна, у нее свободные крылья птицы.

Вот почему, когда мне печально, я смотрю на людей с сочувствием, ибо печаль меня возвышает. Жалость тянет обратно, туда, вниз, на землю. Высокомерье ждет, чтобы кто-нибудь обратил вниманье. Можно ли печали не быть возвышенной?

° Печаль — это сумерки души, час, когда солнце уже село, а звезды еще не взошли (не зажигай огня в комнате!).

Катится битком набитый трамвай, поблескивая белесым глазом циклопа. Люди спешат с новогодними елочками. Переполненная нами земля, как ты связана, как несвободна! Какие узлы нас связали и спутали друг с другом! Спутаны друг с другом так, что не распутать.

Я в своей печали свободнее вас. Я могу отправиться куда захочу (не зажигай огня в комнате!).

Было ли у вас когда-нибудь время, чтобы быть печальным? Могли вы себе позволить не зажигать огня в комнате?

\* \* \*

Ради бога, не обещай мне ничего большого. Не надо. Вот маленький спичечный коробок — в нем я живу.

Можешь взять свои вещи и перебраться ко мне. Если

мир начнет отрицать нас, подавляя своим величием, мы попросим Адама и Еву, чтобы они нас не производили на свет.

Вот маленькое колечко — в нем я живу. Я кладу его на камень и сам сажусь посредине. Можешь взять свой бинокль и перебраться ко мне. Присядь со мной рядом в середине кольца и оглядись вокруг. Не наши ли с тобой имена написаны там, на горизонте?

Но перед тем как перебраться ко мне, обещай мне, что ты не притащишь с собой ничего большого. Оставь эти большущие туфли, которые то и дело натирают ноги, и эту большую планету оставь за нашим кольцом, здесь ей не место.

Вот эта крохотная мысль, не дающая мне покоя, — о прахе и пыли, в которые должен я вдохнуть мое дыханье, о маленькой жизни в маленьком этом кольце.

\* \* \*

Все знаки препинанья — один только вымысел.

Точка имеет лишь относительное значение. Точка существует во мне. Точки нет. Точка может быть и может не быть. Вместо точки можно поставить запятую. Вместо точки можно поставить многоточие. Вместо точки можно поставить точку с запятой.

Вы можете бить себя кулаком в грудь: «Я имею право!» Вы можете сказать и спокойно: «Я имею право». В конце концов, вы можете и усомниться: «Я имею право?» Точку заменил вопросительный знак.

Вопросительный знак всегда и во всем сомневается. Но и сам вопросительный знак не менее сомнителен и условен, чем все остальные знаки, — кто спрашивает? У кого спрашивает? Как спрашивает?

День — это бесконечный поток знаков препинанья, ночь — это тоже поток знаков препинанья, год — это озеро знаков препинанья, жизнь — целый океан знаков

препинанья. Знаки препинанья мечут икру, знаки препинанья пожирают друг друга и уничтожают. Самые охочие до этого — вопросительные знаки, и особенно жадно охотятся они за самоуверенными знаками восклицанья.

Самый серьезный и самый консервативный из знаков препинанья — точка. Она не терпит продолженья. Она бьет левой, бьет под дых, и запятая сгибается перед нею, вобрав живот и полудыша.

Многоточье наивно и глупо. Многоточье — любимый знак любовных записок школьщиц, знак переходного возраста. Многоточье — заика, которому не хватает слов. Инфантильное многоточье, дебильное многоточье.

Если парень пишет девчонке письмо с многоточьем — давайте посмотрим, нет ли у него татуировки на руке, змеи, или сердца, или голой женщины.

Если писатель пишет с многоточьями — он еще слишком молод. С возрастом это проходит.

Тире, вот уж воистину многозначительная болтуня, вытесняет собою честное двоеточье, бесстыдно заявляя — многозначительней не бывает!

Точку с запятой мало кто понимает, этому знаку то и дело приходится выслушивать упреки и нареканья, что здесь, мол, место для точки или для запятой. Этот знак представляется мне тонким мужчиной, деликатным и ненавязчивым, и поэтому так редко мы его замечаем. Не мешает подумать о том, не вымирает ли это племя, не ассимилируется ли часть его точками, а часть — запятыми.

Так борются между собою знаки препинанья. Жизнь — целый океан знаков препинанья. Любой знак препинанья может запросто слопать своего коллегу. Любой знак препинанья относителен, условен и изменчив, ибо он вымышлен.

Единственный невымышленный знак препинанья — смерть. Она единственно невымышлена и неизменна. Она есть, ее не может не быть, и ничего иного вместо нее невозможно поставить.

Поэтому не ищите абсолютных знаков препинанья. Абсолютный знак препинанья — смерть.

\* \* \*

Почему глаза твои так переменчивы, а мои нет?

Что за ветер дует в твои глаза? Не тот ли это самый ветер — ветер четырех сторон света?

Что за землетрясение снова нарушило твой покой? Мне страшно смотреть, как жизнь пробегает по лицу твоему.

Никогда мне не приходилось видеть, чтобы в лице человеческом так отражалось любое мгновенье. Ты совсем еще молод, и вдруг ты становишься старым. И вновь что-то юное, молодое срывается с уголков твоих губ, загорается в твоей улыбке и перевертывает песочные часы в твоих глазах, словно бы говоря — время ничего еще не означает.

Словно белое крыло ангела на твоём челе, оно так идет тебе — ты говоришь «да», «хорошо», ты слушаешь внимательно, что говорит собеседник, и отвечаешь «да», «хорошо» (ах, все мы люди, и простим им их слабости, и ты говоришь «да», «хорошо»). Но вот начинает дьявольски подергиваться левый уголок рта твоего, и выходит из левой щеки твоей Джокер, и ангела нет уже, и всю улыбається Джокер.

Времена года пробегают по челу твоему и смешиваются на челе твоём.

Вот улетела бабочка, улетел мотоцикл, весна начинается. Крокусы цвели в горах, цвели одуванчики в долинах, все начиналось радостью.

Что же с тобой стряслось? Почему эта черемуха на челе твоём вскрикнула? Спросила тебя о чем-то?

Отчего ты стал мрачен, что случилось с тобою? Откуда эти снежинки на челе твоём, и еще и еще, и вот уже все чело твоё занесло снегами. И зима и лето в твоих глазах существуют одновременно.

Даже в Янову ночь — и зима и лето в глазах твоих.

Едва заметные прикосновенья лишают тебя покоя. Слабый ветерок подул — отчего ты так взволновался? Какое-то ничтожество за столом засмеялось — что ж ты впадаешь в отчаянье?

\* Кто-то отвернулся, проходя мимо тебя, а ты уже вздрогнул от холода. Трудно тебе будет жить на свете, все будут читать по лицу твоему, и будет от этого еще труднее.

Говорят — это нервы. Так они это называют, потому что слов других не имеют. Пусть они видят так, как они умеют.

Я видел, как несется поток. Река бурлила в мельничном колесе, река крутилась в водовороте в полдневную пору и пропала в вечернем тумане. Камни стояли спокойной и неподвижно — у них, у камней, была своя жизнь.

Когда-то ты завидовал лицу камня, завидовал его спокойствию. Ты заклинал синеву небесную, чтобы не появилось на ней ни облачка. Гладкости ты просил у каменных стен, жаждал спокойной руки на лбу твоём. Теперь ты знаешь: у камня своя жизнь и у спокойной руки тоже. Тебе надо жить своей собственной жизнью.

Снова сегодня рвалась шрапнель на левой щеке твоей. Бородинский бой! Ватерлоо! Короткие перебежки от морщины к морщине, как из траншеи в траншею. Что за безумная скачка от уголка глаза к уголку рта! Еще один снайперский выстрел от брови к другой, и снова все тихо, лишь там, возле самых бровей, слышатся стоны сраженных в битве.

Медленно светает на челе твоём — человек победил в этой самой великой из великих битв — победил себя.

Я смотрю в лицо человека: все в нём приходит и исчезает, и все неуловимо. Но камни стоят спокойно и неподвижно — у них, у камней, жизнь своя.

\* \* \*

Сегодня солнечно. В горах сегодня полно лыжников. Я это вижу на моем потолке.

Когда я лежу, потолок мой становится для меня безбрежным. Там утренние березы в пушистом инее. В морозном воздухе раннего утра в минуты восхода потрескивают кольца забора, и воздух в эти мгновенья фиолетов, оранжев и розов.

Это мои владенья, моя земля. Она прекрасна в этом раннем утреннем инее, когда день еще впереди, и заячьи следы еще не стертые на снегу, и белые линии от пролетевших самолетов в небе.

Мой потолок — это мой широкий экран, мой кинотеатр, мой Палладиум, у которого ни толчеи и ни давки. Только заячьи следы на снегу, и только одна эта одинокая струна лыжни. И дома с невысокими крышами, покрытыми снегом, и солнце.

Мой телефон — мой концертный зал. Когда он звонит, я не снимаю трубки — я беседую просто так, с ним самим.

— Доброе утро!

— Доброе утро!

— Знаешь, в старых тех домишках у берега моря — в старых тех домишках цветут дикие розы. А луг пестреет от цветущей иван-да-марьи. А дальше — маленькая роща, отвесный берег и — огромное море.

— Что такое иван-да-марья?

— Разве ты не знаешь? Собирайся, поедем вместе.

Тут нужно бы снять трубку и сказать, что поеду. Хотя и не поеду, наверно. Не поеду.

«Безвольный человек не представляет собою никакой ценности — ни личной и ни общественной. Он не движется, не продвигается вперед ни в том и ни в этом».

Это обо мне.

«В личной жизни такой человек без конца фантазирует, мечтает, грустит и занудствует, но за дело никогда не берется».

Обо мне.

Снова звонит телефон. Теперь это уже не локатор привычного моего мира. Он говорит о моем долге, и говорит пугающе подло. Я уже слышу, что он говорит обо мне:

«...но за дело не принимается. Не верит в свои силы. И в конце концов начинает вызывать отвращение и у себя и у других. Он и жизнь ненавидеть начинает, и самого себя».

Вот моя рука. Словно парализованная, бессмысленная, никчемная. От нее до книги, лежащей на столе, всего лишь сорок сантиметров, но она этого не видит. Она ее не возьмет. Ибо в ее жилах нет никакой энергии, ни одного ампера, ни одного вольта.

Вот мой глаз. И еще один. Вот два моих глаза. Они смотрят на часы. Время кружится маленькими кругами вокруг оси. Вот-вот, вот-вот, вот-вот, вот-вот...

Время — исчисление движенья, сказал Аристотель. А движенье — жизнь. Следовательно, я должен встать и идти. Вот так, вот так, так-так, идти быстрее, бежать!

А я лежу себе, подложив руки под голову, а время уходит. Именно время уходит, а я остаюсь. Время уходит, исчезая вдаль, и звук шагов его все тише и тише и наконец совсем затихает.

А может быть, это вовсе и не шаги, а чьи-то пальцы по клавишам рояля, или, может быть, оставив черемуху в этом заливе, соловей улетает вдаль за весенним цветеньем.

Но часы отсчитывают бесстрастно и неумолимо — вот-вот, вот-вот, вот-вот. И я не могу встать. Я лежу,

сброкинут навзничь, на ринге, и медленно раскачивается вокруг меня этот мир бесконечными цветными кругами. Он следит за мною. Считает. Еще немного — и все. Еще совсем немного — и я побежден.

Если бы я сумел подняться! Хоть на четвереньки. На колени. И встать. Почувствовать тугие веревки вокруг себя. Встать. Ощутить свой кулак в перчатке. Ощутить рывок и удар перчатки о перчатку. Почувствовать. Ощутить этот свежий утренний мир — словно огурец весь в пупырышках между листьев росистых на грядке. Вот чего я хочу.

Именно этого я хочу.

Иногда мне кажется, будто дни стоят в бесконечной очереди — словно большие кружки, полные холодной воды, запотевшие. Вот то, чего я хочу.

Рано утром выкинуть щуку в росистую траву. Именно утром. Именно в росистую. Вечерняя щука мне ни к чему. Я сматываю леску и смотрю напряженно в воду, пока вновь начинает светать. Это именно то, чего я хочу.

Я хочу свежести. Это мое лекарство, и оно излечит меня. От чего?

От чего...

Этого сразу и не скажешь.

Этого никто из нас не может сказать — как незаметно становишься меньше и меньше.

Но ведь каждый терял себя однажды и снова искал себя. Искать себя снова — это и есть, наверное, настоящая жизнь.

Поэтому я за себя не боюсь.

И вы за меня не бойтесь.

\* \* \*

Внезапно исчезли ударенья. Ударные слоги сравнялись с безударными, ударные слова — с безударными. Речь стала сплошным потоком «абабабабаб». Ни поговорить, ни спеться.

Дирижер сказал — ничего не выйдет (дирижерская

палочка в его руке покачивалась медленно, словно хвост скучающей лошади).

Так я жил месяцами. Просеивал камешки сквозь пальцы, но ни один не заблестел. Бил молотком по пальцам — не заблестел ни один.

И вот тут ты явилась.

Эх! Ах! Ох!  
Смех, взмах, вздох.  
Разве мир плох?!

— Мне сказали, что ты потерял ударенья? — спрашиваешь ты у меня.— Это не твои?

И ты вынимаешь из сумочки целую пригоршню и кладешь мне на стол. Вот они. Их много, и я не могу понять, когда ты успела у меня их похитить.

— Ты сама мое ударенье,— говорю я.— Ты являешься словно трубный, рокочущий глас ночной, словно блик на воде речной (я чувствую, что ударенья опять во мне, и толкаются во мне и бушуют — я чувствую это сейчас, когда разговариваю с нею).

— Ты просто не умеешь с ними обращаться,— говоришь мне серьезно ты.— Поэтому я и взяла их. Чтобы ты понял, чего они стоят.

— Ты являешься словно блеск в ночи при грозе, словно первый дрозд в вишневых ветвях, в росе, словно вешний паводок в мельничном колесе...

(И ударенья снова во мне — я хорошо это чувствую сейчас, когда разговариваю с нею).

— Ты не умеешь с ними обращаться. Ты пользуешься ими когда надо и когда не надо. Ты их транжиришь. Мне просто больно смотреть на это. Поэтому я и взяла их. Чтобы ты понял наконец, каково без них.

Так ты повторяешь мне снова и снова, но я-то знаю и чувствую — они уже снова в моих руках, они снова во мне.

Где ты была! О мое маленькое неприметное ударенье! Без тебя и глаза у людей не блестели, и ключ

никак не мог угодить в замочную скважину, и бокалы с вином не звенели, и аплодисменты не знали, когда им звучать, в каком месте.

И вот снова запрыгали мои ударенья — ах, как скачут они в телячьем своем восторге!

Как красиво звучат эти звуки галопа (оппа!).

Как я рад, что нашлись они именно сейчас, ни раньше, ни позже (о боже!).

Да-да, теперь я могу заткнуть ими все замочные скважины, я снова слышу шаги, ритмы, притопы. Вон там, за рекой,— поле, в поле цветут цветы, там непременно растет сирень с шестью лепестками.

Мимо прошла женщина, и на кончиках ее пальцев сияла улыбка.

И еще одна женщина проходила мимо, и кольцо она вдела кому-то в ноздри.

Ударенья живы!

Я макаю язык, словно кисточку, в мыльную пену и швыряю об стену — ударенье!

Я покупаю старую колымагу и спозаранку качу на стоянку, приглашаю пассажиров садиться и прокатиться — ударенье!

Я вижу, как пляшут на кругу граммофонной пластинки что-то вроде лезгинки, и пластинка не бьется, а музыка льется, и звучит в отдаленье — ударенье!

Вы мне скажете — как это все неуместно, ну, просто не к месту!

О, ты так полагаешь, ты думаешь, если сам ты на месте, то и ударенья твои непременно на месте? Ты так полагаешь? Но ты пойди поработай вместо меня. Дай мне вместо моего свое место. Вот тогда ты увидишь, где ставятся ударенья и в чем их суть (а не увидишь — не обессудь!).

Да, таков мой язык. То, что хочу я сказать, я не произношу, а выщелкиваю моим языком. Вот так: клак! Ты знаешь как. Почти неприлично.

Такой у меня палец отменный, отмеченный меткостью. Я подхожу к тебе где-нибудь на улице или в трамвае и втыкаю его в твой лоб, и мета остается, и ты ее уже ничем не смоешь.

О радость!

О радость разбивать удареньями стекла и рисовать узоры на весенних платьях!

О радость сунуть свой палец собаке в глотку!

Снова не к месту? Что ж, к твоему не месту, к моему месту.

Да, не стал я разумней. Может, вы и правы, вы, которые к месту, может, вы правы. Да здравствуют безударные слоги — не так ли? Да здравствуют спички, которые не горят, и собака, которая не кусается, да здравствует шапка без головы.

Я сдаюсь. Я отдаю вам язык мой, вот он — выгладите его и отутюжьте.

\* \* \*

В темноте находить дорогу легче, чем при свете. Днем тебя начинают терзать сомнения. Ты надеешься на следы тех, проходивших до тебя по этой дороге, и думаешь, и сомневаешься — та ли это дорога, нет ли?

Были ли они умнее, те, прошедшие по этой дороге прежде? Этого ты не знаешь. Ты веришь, ты доверяешься этим следам, но вот после нескольких всего километров они поворачивают обратно. Выходит, что этот путь никуда не ведет.

День — это несчастье перекрестков, сомнения указателей, распад упавшей капли.

Куда легче находить дорогу ночью. Я полагаюсь только на свои глаза — у меня нет ничего иного в темноте этой ночи. День — это опыт других людей. Дорога — это опыт других людей. Ночью существует только мой опыт и моя дорога.

Я обхожу светящиеся окна. Если идешь ночью —

не смотри на светящиеся окна. Слепленный ими, ты ничего не увидишь. Ты будешь подобен собаке, потерявшей обонянье. Я обхожу светящиеся окна — обхожу стороной.

Темнота непроницаема и красива, и когда я полагаюсь лишь на себя, я полагаюсь и на нее. А когда я на нее полагаюсь, она, в свою очередь, полагается на меня.

Темнота словно море — чем дальше в нее уплываешь, тем отчетливей ощущаешь эту огромность и чувствуешь, как велика твоя собственная отвага.

Когда я продираюсь сквозь темноту, мне иногда приходит в голову мысль — может быть, я излучаю свет, сам не зная этого, и, может быть, кто-то вдали меня видит и для него я похож на маленький движущийся светлячок. И думаю я — а видит ли он, что рядом с этими зарослями, сквозь которые я продираюсь, находится дорога, проложенная прошедшими прежде? Не смеется ли он надо мной? И видна ли ему та яма, в которую я упаду, или та незаметная кромка, по которой я пройду осторожно?

А может быть, он-то и вырыл для меня эту яму?

И тогда я чувствую, что у меня прибавилось сил, и я сам смеюсь над ним. Я, крохотная точка в темноте, напрягаю свой нюх, зажигаю свои глаза и прохожу у самого края ямы. Нет, я не могу упасть в нее, ибо никто так прочно себя не утверждает, как человек, идущий в ночной темноте.

Темнота — это мои витамины. Я дышу ею как кислородом, и она горит во мне.

Когда я иду в темноте, я чувствую, как она меня любит. Реальность моего существования подтверждает и эта сосна, стоящая справа от меня или слева, и смола, невидимая в темноте, и почти неслышимый шорох шишек там, наверху, где должны быть звезды, но которых не видно, и слава богу.

Ветка, оцарапавшая мою щеку, лишь подтвердила,

что я есть, и корень, о который я споткнулся, — он узнал меня и поприветствовал как умел.

Если хотите утвердить себя, идите в темноте и никого с собой не берите. Все можно в темноте потерять, но себя найдете.

С тобою твои ноги — они умны и понятливы. Им ведомы издавна и камни, и грязь, и потрескиванье сухих веток.

С тобою руки твои — протяни их направо или налево, к тому можжевельнику, к тому дубу, и ты утвердишься.

С тобою глаза твои и уши. Пусть дрожит себе осина, но дуб не отдает своих листьев даже зимою. Вокруг тебя твоя тьма, большая и бесконечная. Чего тебе еще надо?

\* \* \*

Страшный ты человек, самый страшный из страшных. Ты ничего не хочешь. Ты много страшнее тех, которые хотят все.

Ты невыносим — ты со своим нежеланьем.

Любое желанье, даже каприз, можно понять, можно выполнить его или опровергнуть. Оно конкретно, оно осязаемо — можно с ним спорить и даже его ненавидеть.

Твое нежеланье — оно как река, круга спасательного тут не увидишь. Когда я выплываю на твой берег, я вижу — там нет ничего: ни травы, ни деревьев, ни холмика — гладкая равнина.

Скажи мне, река, куда ты течешь?

Она никуда не течет.

Скажи мне, река, когда ты покроешься льдом?

Эта река никогда не замерзнет.

Я люблю детей своих — всегда им чего-то хочется, и часто того, чего нет у меня.

Я люблю жену свою — она тоже хочет больше, чем я могу дать ей.

Я могу рассердиться.

Я могу попытаться исполнить ее желание.

Я могу, наконец, убежать.

Я могу горевать, напиваться, жаловаться друзьям. Словом, всегда имеется какой-то выход, ибо рядом есть кто-то, кто хочет чего-то.

Я и сам знаком с нежеланьем. Это когда иссякает поток. Когда река разделяется на несколько рукавов, и я не знаю, по которому течь. Они становятся все меньше и незаметней, они мельчают и совсем пропадают в песке.

Я стою среди песков и оплакиваю свою реку. Я ишу то место в пустыне, где река моя снова выйдет на поверхность.

Но она не выходит. Кажется, что за тем вон барханом, за теми красными песками пустыни она вновь вырывается на поверхность, голубая, неудержимая.

Может быть, просто мне уже не догнать ее?

Я падаю на песок и плачу — я, взрослый человек, посмевающий в своей гордыне учить других, — я падаю на песок, как комочек праха, и плачу.

Так велика моя ничтожность. Так ничтожно мое величье.

Я знаком с нежеланьем. Старый пес, которому нечего уже видеть и нечего слышать. И никто не убедит тебя, что ты существуешь.

Всегда пугала меня бесконечность пространства. Когда нет ни конца, ни начала. Нет отправной точки, точки, от которой можно оттолкнуться. Есть одна лишь бесконечная пустота, и нет у нее начала. Я знаком с нежеланьем.

Но за красными барханами пустыни вырывается на поверхность река, голубая, неудержимая. Всего в двухстах шагах от того места, где ты упал.

Есть один белый журавль в стае среди журавлей серых — есть один.

Говорю вам — пойте! Пойте, когда вам хорошо. Пойте назло всякой грубости или свинству. Пойте в глаза тому, кто вас ругает. Пойте, ликуя в своем превосходстве, когда вас бьют.

Я хорошо это помню. Был я маленьким и видел в окно, как соседская женщина колотила своего сынишку.

Он стоял у сарая и пел. Мать его колотила, а он смеялся и пел. Она била, а он пел. Она устала бить его, а он пел. Она опустила руки, а он ушел, поглаживая побитые свои плечи и спину,— он шел напевая.

Пойте в переполненных троллейбусах, и если вам придется заплатить за это — заплатите!

Пойте, когда пьете вино. Пойте у могилы. Что ж вы молчите, пойте. Он не услышит. Не для него. Пойте не смерть его, пойте жизнь свою. Не о хвое на могиле, а о том вон листике на верхушке. Пойте себе, живые,— вам нужна песня, а не ему.

...Ты ночью проснулся и слышишь — поют соловьи. Вот видишь, песня живет и ночью.

Поешь ли ты только утром, солнечным утром? А песни отчаянья, песни гнева и наступленья?

Да, где она, твоя песня наступленья? Ты уже победил — и поешь только утром? Или ты побежден — и совсем не поешь?

Внезапно напал на меня страх, что совсем могу забыть сестру свою. Будто вовсе останемся мы незнакомы.

Много в моей жизни говорил я с чужими людьми, а было ли у меня время поговорить с сестрою моею? Встречались, здоровались. Здоровались и прощались.

Почему-то именно сегодня я увидел отчетливо эти

маленькие морщинки у глаз ее, шершавую от работы руку, и глаза ее, очень похожие на мои.

Если правду сказать — я ни разу, наверно, ее головы не погладил. Разве что тогда, когда была она совсем маленькая. Чаще я ее бил. Она всюду хотела бывать со мною, а я не хотел. Мне и в голову тогда не приходило, что она таскается повсюду за мною лишь потому, что я был у нее самым близким человеком и друзей у нее еще не было.

Позже появились друзья.

Помню ее в те редкие дни, когда отмечалось какое-либо событие в ее жизни. Родственники ели и пили, судачили о деньгах, о работе. И никто не замечал, что у нее такие усталые, натруженные руки. Что у нее красивые волосы, синие и чистые глаза, и глаза эти требуют любви. Никто не спрашивал — что тебе надо и чем помочь тебе? Говорили — ах, что за девочка, просто ягодка.

Кажется, и в тот раз я не подошел к тебе, не обнял тебя за плечи, не сказал тебе доброго слова, а лишь так, обычные поздравления, словно чужой чужому. Был я самым молодым из тех, кто был старше тебя, и я тебя должен был бы понять, я был твоим братом.

Потом была свадьба. У нее, у сестры моей. И было ей не до родственников — появился Он.

И потом — потом у тебя были дети, и у меня были дети, у тебя была твоя работа, у меня была моя работа, у тебя были заботы, у меня были заботы, и у нас обоих не было времени.

И вот сегодня вдруг напал этот странный страх — будто во сне увидел тебя маленькой, будто заговорил во мне голос крови. Так был дружен с чужими людьми, а родной сестре своей голову не погладил, я, один из самых ей близких, и глаза ее очень на мои похожи.

Внезапно напал этот страх. Будто услышал голос крови. Голос, звучащий где-то там, в глубине, в темноте.

И вдруг заговорили о сокровенном. Будто струна какая-то, доселе никому неведомая, зазвучала внезапно.

Не все ли равно, кто начал, кто заговорил? Но начали вдруг говорить о своем сокровенном.

Сегодня у меня день сплошной доброты и сплошных симпатий.

Утром проснувшись, вижу — книги, по струнке выстроившиеся на полках, тянутся друг к другу — познакомиться, прикоснуться, побыть рядом. Комната вся пронизана сердечностью и теплотою. В Маяковском и в самом живет раненый дух Овода Войнич, но здесь, у меня в комнате, они сегодня беседуют дружественно и просветленно. Страданья Леси Украинки ищут Николая Островского. Гассуновский Путник играет на гуслях, собираются все вруны-северяне, врут красиво и увлеченно, и когда я прохожу по комнате, вся она словно пронизана лучами, и я с трудом пробираюсь сквозь эти сети доброжелательства и симпатий.

Я живой, я здесь лишний, но мне хорошо, они меня не замечают, зато мне хорошо все видно. Яунсундрабиньш с балкона спиннинг закидывает в солнце. В коридоре стоит Аннушка Бригадере, лаптишки ее высохли и изодрались, а в глазах у нее — бог оленьего сада.

Вы, мои милые, ни разу не встречавшиеся при жизни, вы вошли в это утро, в мое утро доброжелательства и симпатий. Благословите мои мускулы, я тоже хочу тяжесть нести!

Прежде лестничная площадка моя бывала обычно пуста, но сегодня я вижу их всех, всегда желавших позвонить в мои двери. На всех этажах множество разных людей, вернее, не их самих, а их странных желаний нажать кнопку моего звонка. Они не видят друг друга, они приходят и уходят, двигаясь мимо друг друга и да-

же сквозь, тихие и радостные оттого, что никто их не видит.

А я вижу. Вижу цветы, которые они хотели принести, фрукты, которые они хотели подарить, но так и не подарили. В равнодушии признаться трудно, а любовь скрывают. Любовь — это птичье гнездо в лесу, спрятавшееся, осторожное.

Но сегодня — великий день дружелюбья и симпатий, и звонок звенит непрерывно. Ты слышишь? Ящик почтовый наполнился письмами. Как, ничего в нем нету? О, пойми же, это день дружелюбья и симпатий, и прими их всех, вспомни их всех, которые шли к тебе и у самой двери твоей остановились смущенно, шли к тебе много раз и не пришли ни разу.

Вышел ли ты им навстречу? Тогда выйди сегодня. И скажи — я человек, и не знаю, как поделить себя между вами, молча меня уважавшими.

Я вижу сегодня излученье, исходящее от людей.

Вот у дома остановилось такси. Из него вышла девочка, и ушла, ушла так, как умеют лишь девочки, и когда я сел в машину, эта девочка все равно была еще там. В глазах у шофера еще сиял ее бант, сиявший в ее волосах, и в ушах у шофера еще звучал ее смех. О, как она щебетала очаровательно, да, такой девочки он не возил еще, может, ни разу. Она появилась, как Янова ночь, столь же и мимолетна.

В руке у шофера еще лежали деньги, которые она заплатила, а цифры со счетчика повысыпались на пол. Он их даже не собрал. Он, наверно, даже не заметил, как сел я в машину. Девочка ушла — как мотор от машины, как шина от колеса, и ключик стартера безутешно плакал.

Я все это ясно почувствовал в этот миг и понял, что будет теперь мой шофер не на дорогу глядеть, а поглядывать на тротуары. Но больше он ее не увидит. А если увидит, то только на перекрестке, за красным глазком

светофора. Такие девочки, как эта, всегда появляются именно там, за красным глазком светофора. И именно тогда, когда ты сидишь за рулем...

...А когда приходят ко мне, разве нет никого, кому бы я мог признаться —

хотел я дать тебе крендель, да собака съела;

хотел я дать тебе свою шапку, да ветер пронес меня мимо;

посадил я подсолнух под твоим окном, да было сухое лето;

многие годы молил я о ветре для твоих парусов, а ты и не ведал об этом;

чего я желал тебе, бабушка, последний раз — чтоб была земля тебе пухом — стало ли тебе от этого легче;

а тебя мне жаль было, была ты как дитеныш косули, видел я, что лес у тебя отняли, а ты не убежала и детей своих кормишь молоком магазинным...

К вам ко всем я остался на полпути.

Теперь звони в мою дверь, о своем сокровенном хотел я сказать — вот как близки мы были.

\* \* \*

Если мы будем действовать смело и решительно — нам лишь прибавится.

Мы привяжем хобот слона к хвосту его. Только не надо бояться.

Мы переделаем начисто календарь.

Мы приручим волков, сделаем домашними животными ежей и зайцев и даже диких козлов.

Мы выйдем из лесу со своими братьями кабанами, и дятлы лесные будут у нас наборщиками.

Мы вырастим мох в своих волосах — серый, зеленый, коричневый лосиный лишайник.

Здравствуйте, вы, черные, как черника, и красные, как брусника! Здравствуйте, вы все, у кого смола к

бороде прилипла. Будем ходить босиком по шишкам — мы победим.

Ты, о мудрая белка, ты носишься как телеграмма между верхушками двух деревьев. Ты, беспокойная и быстрая, будешь нашим флагом — когда будем идти вперед, белки будут развеиваться над лесом, и когда выйдем мы на опушку, будут повсюду развеиваться белки, подобно флагам.

Мы не преувеличиваем. Мы и вправду здоровы и сильны, и нашим братьям, даже тем, что не живут в лесу, мы поможем.

Мы и вправду сильны. Наши мускулы коричневые, как боровики, и движенья наших сердец прекрасны, как движенья косули. В наших глазах, когда мы умираем, образуется янтарь. Матери наши учили наши глаза только хорошему — не завидовать, не жалить, не ненавидеть. Отцы наши нас учили, как всунуть волку в глотку кулак, чтобы он не закрыл уже пасти.

Все вы, кто тащится еле, — придите, мы вам поможем!

\* \* \*

Ты показываешь мне увядшие цветы и говоришь — увяли. Будто нету увядших цветов и в моей вазе.

У тебя отличные зубы — зачем ты показываешь мне тот, что сломан?

Что вы носите свои слезы из дома в дом?

Если твоя собака больна чесоткой — вылечи ее у себя дома.

Стоит ли рассказывать другому о том, что у тебя стал пошаливать мочевого пузырь?

Ты хочешь плакать, плакать не один, а дуэтом? Может быть, тебе будет еще легче, если вместе с тобою заплачет огромный хор?

Беда разделенная — это еще не половина беды. Свои

полбеда ты взвалил на другого, а у него уже есть и своя беда, и вот теперь у него своя и еще твоей половина. И это ты называешь любовью к ближнему? Когда ты отдаешь половину ему, и когда он отдает тебе половину — все равно у вас остается по целой беде. Так что нет никакого смысла делиться.

Спрячь все свои знаки минус в надежный сейф и лишь тогда выходи из дому.

Приходи к своим ближним тогда, в тот день или час, когда все твои знаки плюс ты можешь надеть на грудь, как знаки почета. Если это бывает даже очень и очень редко — все же именно в этот час выходи из дому со знаками плюс, светящимися ночью, как светлячки.

Это болит и то. То-то случилось и то-то. Бед у меня — как блох у собаки.

Ты хочешь по свету всех блох своих разнести?

\* \* \*

Когда я вышел из дома своего, я не знал еще, что мир необъятен.

Но когда я бежал за солнцем многие годы, не останавливаясь для передышки (чтобы всегда находиться в его освещенье), я понял, что день конца не имеет.

И когда я долгие годы шел за луною следом, я понял, что ночь конца не имеет.

И я понял тогда, что надо стоять на месте. Тогда день придет к тебе сам, и сама к тебе ночь придет. Никуда не надо бежать, никуда не надо спешить, надо понять и постигнуть ритмы вещей, и надо найти себя самого в этих ритмах.

Надо понять и осмыслить ритмы вещей. Канаки, к примеру, скачут верхом на волнах. Они берут доску, похожую на большую водную лыжу, заплывают подальше, и, к берегу повернувшись, когда приходит волна,

усаживаются на ее спину, и едут на ней, пока их не выбросит на прибрежный песок. Они открыли ритм, которого не знают другие.

Ястреб висит высоко в небе, не шевеля крыльями. Он открыл этот ритм, который его несет.

Величайшая радость всадников — постигнуть ритмы коня, и ритмы верблюда, и ритмы слона.

Ритм антилопы прекрасен, никто покуда не пробовал в него проникнуть.

Может быть, прекрасны и ритмы гиппопотамов — пробовал ли кто-нибудь ездить на них верхом?

Радость танцора в сочетании трех этих ритмов — ритмы мои и твои и ритмы трубы.

Воистину это радость — поиски ритма. Ритм — это творчество. Издавна известно, что даже тяжелая и неприятная работа превращается в чистую радость, если она ритмична.

В народной песне мельничиха так обращается к жернову:

Уж я тебя выиграю  
В сугроб мучицы белой...

Даже и смерть сама не властна над ритмом, и не надо мешать ему:

Все в свои уходят сроки,  
Я ж умру под утро в праздник,  
Чтоб работам вашим спешным  
Смерть моя не помешала...

Если ритмы не приходят сами — ищи их!

Мускулами ищи, каждым нервом ищи.

В истории, в борьбе, в календаре — всюду ищи.

В грамматике. В орнаменте.

Ритмы, пронизывающие все и звучащие сквозь все.

Не над, не вокруг, не под — вибрирующие сквозь.

Кто их находит и постигает — тому радостнее жить на земле.

Она — мой друг, и мне она очень нравится. Но вам она может и не понравиться вовсе.

Она — мой друг, с нею мы родились в одном мире. Вы родились в другом.

С нею мы говорим на одном языке, и то, что мы говорим, перевести невозможно. То, что пишут писатели, — это всего лишь смутное предчувствие того, что говорит мой друг.

Мы — пара сапог, каждый на своей ноге. Когда я хромаю, она не позволит дороге свернуть куда-нибудь в сторону. Я — один глаз, она — другой. Пока она смотрит косо (ей иногда это нравится), я смотрю прямо, смотрю за двоих. Если я чищу лук — она плачет вместе со мною.

Я — ее пес. Когда она убивает утку — я плыву за убитой дичью. Когда она ест колбасу, она знает, что у меня текут слюнки, и она меня не обделит.

Мы друзья-близнецы. Когда у нее болит зуб или сердце, она предостерегает меня, чтобы я был осторожней с моим зубом или с моим сердцем.

Если моя рука ударит кого-то — она идет и просит прощенья.

Я — ее печать. Она дышит на меня теплым своим дыханьем и шлепает мной о бумагу — я свидетельствую ее рождение и ее подпись, и без меня недействительны ее бумаги.

Мы друзья-близнецы. У матери-дружбы мы родились одновременно. И это почти невероятно.

Вьемся, перематываемся из клубка в клубок.

Мать постепенно перематывается в своих детей. Вдруг кончается жизнь — один клубок перемотался в другой.

Вон самый большой моток в корзине для шерсти — это мать, перемотавшаяся в дочь, или отец, перемотавшийся в сына.

Видите вон тот большой клубок — всего ему не хватает! И сестра на него мотается, и бабушка на него перематывается — и сами при этом становятся они все меньше.

А вот этот большой клубок — как он перематывает на себя эту девушку! Она становится совсем маленькой и такой робкой, и перематывается со своего мотка на его так податливо, и так счастлива этим! Когда большой клубок становится еще больше, он перематывает на себя подругу, жену, еще одну жену, еще одну подругу, еще одну жену или подругу, и это воистину великое перематыванье.

Бывает, конечно, и наоборот — вон та розовенькая перемотала на себя нескольких уже мужей.

Люди проходят мимо, парами, и оба вроде одинаковые, но если пристальнее взглядеться — это катятся мимо два клубка, один большой, а другой маленький, идут они мимо, перематываясь, и называют это по-разному — самопожертвованье, угодничество, взаимопониманье, или дружба, или любовь.

Настоящая любовь — это как взаимное перематыванье туда и обратно. Так луна перематывается на солнце, а солнце перематывается на луну.

Когда я вижу тебя в очереди с сеткой для покупок, мне кажется, что ты становишься все меньше и меньше. Это тебя перематывает твой муж, твой сын, твой друг, милый твой эгоист. И не знаю, будет ли перематыванье обратно.

Кто в кого перематывается ночами любви? Кто берет и кто отдает?

Один клубок красив, как Дон-Жуан. Вот эта нить — Рута, та нить — Рита. В прошлую ночь Аннушка на меня перемоталась.

А другой клубок размотан и смотан до самого осно-

ванья. Три года мотала Марта, двадцать метров перемотала Берта, с Алмой рискнул — еще пять метров осталось. А назад получил Фигу. Теперь она моя невеста, моя женщина — Фига.

И тебя, девочка, сделали совсем маленькой, перемотав и смотав тебя почти до основанья. Когда ты, такая маленькая, стала зябнуть, другой какой-то моток тебя в свою шерсть закутал, опять большую и теплую.

Но каждый почти клубок в душе, увы, эгоист, и через некоторое время и этот стал тебе напоминать, что вы с ним теперь сравнялись.

Тогда ты, милая, только чтобы спокойней было, снова позволила себя перемотать и сделать опять совсем маленькой. И жаль ему тебя стало, и вновь он перемотался и с тобою сравнялся. И ты должна была помнить об этом все время, что он пожалел тебя, ибо он пожертвовал собою и отдал от себя половину.

Но тебя он требовал всю целиком. Так уж это часто бывает. Все тут зависит от того, как из них кто сумеет поставить себя. Большой моток, он рассуждает так — моя половина больше, чем ее целое. Он, конечно, не знает, что на алтаре жертвоприношений целое, хоть и маленькое, дороже большой половины.

Я, смотавшись и перемотавшись, стал таким маленьким, что совсем уже будто не существовал на свете. Тогда один маленький клубочек на меня перемотался — не на четверть, не на половину, а почти весь, до основанья. И стал он сам маленьким, а я снова большим. С той поры мы часто перематываемся, перевиваемся, становимся равными и перематываемся снова и снова.

Когда это естественно, как бы само собою разумеющееся — это красиво.

Вот катится по небу солнце, и я знаю, что и оно с какого-то другого клубка перемоталось. Ибо во вселенной существует великий закон сохранения клубков.

...Когда я все это прочитал своему клубочку, в ответ я услышал:

— Ах, все ты обманываешь! Ты — мяч, обмотавшийся нитями футбольный мяч!

\* \* \*

Хо-хо, что же теперь там будет? Гляжу, Она с каждым днем все счастливее. Она ходит счастливая, словно тыква. Сначала Она цвела, тоже как тыква, и я смеялся, что поэт, который сказал о той женщине, как о тыкве, — вовсе он не дурак.

Потом начала Она набухать.

Хо-хо, что же там теперь будет? Может быть, маленькие тыквочки?

Я смеялся, а во мне все гудело от радости, словно у шмеля какого-нибудь, который вывалился в пыльце расцветающей тыквы.

Хо-хо! Теперь я часами сижу возле грядки и за тыквочками наблюдаю. У каждой из них свой характер, и растут они все по-разному. Одна круглая, другая продолговатая, одна такая морщинистая, будто только что на свет народилась, а другая гладкая, без единой морщиночки или прыщика.

Прежде я не замечал, как растет все на свете. Теперь замечаю, как чашечка маковая неторопливо раскрывается и в нежной женственной красоте своей мечтает о зачатъе. А дня через три, все еще красивая и привлекательная, начинает уже увядать, и головка набухает большая и гордая — словно футбольный мяч, попавший в ворота.

А Она меж тем с каждым днем все счастливее. Походка стала у Нее гордая, и стала Она стройнее, хотя и прибавила в весе. Мне кажется, что только теперь Она по-настоящему чувствует, что такое сила земного притяженья.

Набухает под землею ранний картофель. Мы варим его впервые незадолго до дня Анны. Сейчас он еще набухает и цветет. Прежде я не думал, что и у цветенья картофеля тоже свой смысл и сила, а теперь я наблюдаю это как чудо. Я ступаю по борозде и чувствую — картофелины под землею набухают и раздувают ребра, словно кроты.

У поросят испачканы морды, и лежат они под забором, и растут себе просто от солнца и от крапивы. Последние дни июля лопаются, словно стручки гороха, полные и перезревшие.

И вдруг до меня доходит, что мир кругл.

Маленький круглый помидорчик становится большим, но таким же круглым помидором. Меняется только цвет его и размер.

Глобус кругл, как Земля, а Земля творит по образу своему и подобию — так же, как мать.

Круглой складывают копну, причесывают и приглаживают, чтобы была круглее.

Капля материнской крови и слеза ребенка одинаково круглы.

Кругла морская волна, бегущая на берег, и кругла бегущая обратно.

Глаз жизни бдителен и округл.

Я пригляделся — куда Она ходит.

Она отыскивает самые зрелые плоды, которые вот-вот разорвут кожуру и вырвутся из своей скорлупки.

В блюде с картофелем Она ищет самые мучнистые из картофелин.

Если в яблоне и вокруг выются осы, это значит, что яблоки уже поспели, — и там, возле яблони, я нахожу Ее.

Истинное чудо — голова капусты. Как она лопается, как обнимает листьями нутро свое, свою сердцевину, обнимает и кутает, а там, в сердцевине, набухают и лопаются сто листьев одновременно.

Осенью, когда будут капусту в бочку укладывать, родится ребенок.

Благословите его, тыквы, поросята, и пивные бочки, и маки, и яблоки созревшие,—Он будет вам братом.

\* \* \*

И снова падает звезда, и снова поднимается во мне надежда. Как бизон, поднимается, как озон, как гроза на горизонте.

Надежда ударяет мне в голову, я пьянею от грозы и озона, и ноги мои начинают уже бушевать, и руки мои начинают размахивать сами. Напрягаются в ожиданье мои колени — словно олени. На колени я опускаюсь в начале пути, это моя стартовая стойка — я путешественник, путник, озаренный надеждой неожиданно.

Дорога извивается, словно уж,— мне бы лишь удержаться на этой спине. Так, вдали, на голове у дороги поблескивают два золотистых ушка. Я все время стараюсь держаться на ней так, чтобы те золотые ушки не исчезали.

Ночью дороги спят. Они натягивают на себя пахучие края канав с клевером и тмином, с таволгой и маленькими кузнечиками, и лишь самая середина дороги, посыпанная гравием, белеет, словно тропинка. Дороги спят, дома спят, собаки не лают.

Я шагаю по спящим дорогам на цыпочках — боюсь разбудить их.

А где у нее, у дороги, помещается сердце? У какого моста, под каким камнем?

Может быть, сердце дороги спит сейчас где-нибудь у обочины дороги, прикрывшись листьями подорожника? Или где-нибудь притаилось в гнездышке перепелином?

А может быть, сердце дороги не спит, а ходит бессонно? Ведь не может же быть, чтобы сердце дороги стояло на месте — тоже, наверно, шагает весь день и ночует в пустынных дворах у дороги, в теплой пустой конуре собачьей?

Свое сердце — у каждой дороги.

Но что ж они делают, встретившись на перекрестке?

А ведь на дорогах, пока они спят, в это время могла бы расти трава, или хлеб, или овощи, скажем.

И порой я сажаю семечко тыквы в белой дорожной пыли, поливаю его водой из канавы и оставляю на этом месте маленький камень. Но сколько ни возвращался я к этому месту, ни одно, увы, семечко всходов не дало. А если и появлялся росток — то ненадолго.

У нее, у дорожной пыли, своя задача, свое призвание. Она не оплодотворяет цветы и не опыляет растения — она опыляет сапоги и колеса.

Миллионы пылинок оседают у края дороги, у ее обочин, и люди ее проклинаят, как будто дорога и существует для этой пыли.

Но дорога, она существует ради пыли дорожной, оседающей на сапогах. Это малая часть ее, всей этой пыли дорожной, но дорога и существует ради нее.

У меня хорошо опыленные сапоги. И они плодородны.

Иногда мне сдается, что я родился от них. Что они меня создали.

Да, не я их, а они меня создали, эти несколько пар, я единственный сын их. Все они создают меня и изнашиваются постепенно, я один остаюсь и иду.

Когда-нибудь, верно, и я останусь в дороге и больше идти не смогу. И останется мой последний сапог. Пусть идет он, и пусть опылится опять, и мне брата создаст — Пешехода.

\* \* \*

Голову погладить. Знаем, что это такое. Гладили и нас. Когда маленькими мы были. Мы и сейчас это помним.

Нетрудно погладить голову ребенку, волосы пропуская меж пальцев. Погладить ему голову, назвать каким-нибудь ласковым именем. Очень нетрудно.

Но попробуйте погладить голову взрослому человеку. Бабушке своей или деду. Вашему дяде, который болен,— и он заплачет. Он заплачет смущенно. О чем?

О том, что рядом огонь был, рядом был огонь и радужные его отблески обещали. Все время за стеной было пламя, было тепло, и порой оно приближалось, совсем было близко.

Ты погладил, и ты напомнил.

Трудно погладить голову старому человеку. Долг отдавать пятаками — рука не поднимется.



---

# Сказки

---

*Камни умеют летать.*

*Уж это точно.*

*А спички залезают в норы и шевелятся там.*

*Ботиночные шнурки умеют выжать двухпудовую гирю.*

*Четвертая ножка письменного стола прекрасно понимает, что стол устоит и на трех. Ей хочется путешествовать.*

*Солнце читает листья на деревьях, но только с одной стороны. Зато уж ветер — и с той и с другой.*

*Эпифании и сказки вроде грибов. Никогда не видишь, как они растут.*

*Посмотри, как кувьркается под ветром флажок, — невозможно угадать, каким будет его следующий кульбит.*

*А уж камни-то летают. Из скалы в стену, из горы в печь, из земли в перстень.*

*Пока они еще в воздухе, мы их ловим и называем — «сказки».*

*Для этой книжки ловил перелетные камни старый охотник Курт, солила их, как грибы, монашка Мадлена, сам-то я поймал их по-латышски, а уж по-русски перехватил их один чудак, которого звать Юрий.*

*Мы ловили, мы солили, а уж вам пробовать.*





Синий-синий конь в горохе!

Синий конь в горохе!

Я видел его вчера.

Он жевал синие цветы гороха, а я знаю, почему он синий.

Собрались кони со всего света — черные, чалые, гнедые, саврасые, воронье и в яблоках—и сказали:

— Если машины победят — мы все погибнем. Сделаем так, чтоб один конь был вечным!

И они решили, что вечный конь будет синим. Это цвет мечты и надежды.

Коню дали синие крылья и назвали его —

### СИНИЙ КОНЬ НАДЕЖДЫ.

И еще на Общем Собрании Всех Коней решили, что Синий Конь будет одинок. Ведь сильнее всех печалится и мечтает, надеется и ждет одинокий. Так пусть у него не будет ни друга, ни подруги, ни синих жеребят.

И тут загрустил Синий Конь, но ему сказали, что грусть тоже синяя и очень подходит ему.

— Ты — Конь мечты,— сказали ему.— Ты можешь есть и пить то же самое, что и мы, но тогда ты погибнешь, потеряешь свой цвет. Ты—Конь мечты—ты должен жевать незабудки. Синие цветы — твой хлеб. А захочешь пить — отыщи за синей горой в синем бору три синие ольхи — там синий родник.

Там три синие молнии синими саблями гонят зайца.

Там — три синих облака в синей бочке заснули.

Там — ...впрочем, сам разберешься...

А жить ты должен в синей дали. Ведь люди надеются, смотрят вдаль. В даль моря синего, в даль неба далекого, в даль леса — далекого синего. Только в сумерки, только синим утром, только в вечернем тумане можешь подойти к людям—так решило Общее Собрание Всех Коней.

Увидеть Синего Коня очень трудно.

Но ранней весной, когда прилетают дрозды и в лесу зацветают подснежники,— смотрите, нет ли там следов Синего Коня?

А лесом идите тихо по полю. Там лен цветет, там васильки, там Синий Конь пасется.

А уж белою зимой глядите в сумерки, туда, где елки роняют свои тени. Там Синий Конь лижет синие тени.

Тот, кто едет верхом на Синем Коне, весь мир видит синим. Черемуха для них синяя, заяц синий, даже гриб-дождевик и тот синий.

Вот почему латыши говорят: синие чудеса!

Синий Конь — синее чудо. И тот, кто едет на нем верхом, видит синие чудеса.

Правда, он почти никого к себе не подпускает. Разве только некоторых поэтов.

Но если у вас есть немного синего овса... Есть у вас горсточка синего овса?

## ЯНТАРНАЯ СКАЗКА

— Как? У тебя нет янтаря? — Глаза у Крота сделались огромными, как булабочные головки. Это означало, что Крот удивлен, ведь у кротов глазки такие маленькие, что их почти не видно.

— Как? У тебя нет ни одного янтаря?

— Нет,— сказал я.

— Тогда следуй за мной,— строго заметил Крот.— Правда, у тебя какие-то редкие брови.

Крот придирчиво рассматривал меня.

— Привяжи к бровям зубные щетки, а то песок насыплется в глаза.

Махнув мне лапой, он пропал в норе. Потом снова вылез наружу.

— Ну а ты что стоишь?

Привязав к бровям зубные щетки, я полез в нору. Через пару часов Крот сказал:

— Ты слишком медленно ползешь. Мы проползли только десять метров. А до озера Энгурес десять километров. Иди лучше по земле, а я поползу. Чтоб ты меня не потерял — я буду иногда высовывать голову. Не спутай меня с другими кротами! Смотри — у меня один зуб янтарный. Высуну голову из-под земли и засмеюсь — сразу узнаешь, что это я.

Тут Крот засмеялся — крик-крик-крик, — как будто трижды переломил карандаш.

Крик! Крик! Крик!

Я отвязал щетки, и мы снова отправились в путь.

Добирались долго. Три недели.

По дороге я часто отдыхал. Крот не успевал за мною, под землей ползти все-таки трудней, чем шагать по поверхности. По пути нам попадались ручейки и канавы. Я их перепрыгивал, а Кроту приходилось ползти под ними.

Поджидая Крота, я читал книжки. Прочитал все о кротах, о янтаре, об озере Энгурес. Оказывается, в этом озере так много янтара, потому что когда-то здесь было море. Янтарь лежал на дне моря.

На третью неделю мы были уже неподалеку. В земле, взрытой Кротом, иногда поблескивали кусочки янтара.

— Отдашь их мне? — спросил я.

Крот засмеялся.

— Это еще не янтарь, — сказал он, — очень уж маленький. Таких маленьких янтарчиков здесь много. Походи по картофельным бороздам.

Я походил и действительно набрал полный карман янтарчиков.

Видел я, как мальчишки ходили за плугом. Отец пахал, а они шли следом и собирали янтарчики, как грачи собирают червей.

Потом мы попали в большой сосновый бор на берегу озера. Здесь не было ни кустика, ни травинки, а на земле меж сосен светлел серый мох, в котором росло много грибов.

Крот высунул голову и сверкнул — крикс-крикс-крикс — янтарным зубом.

— Здесь, — сказал он. — Ползи за мной.

Я снова привязал к бровям зубные щетки и пополз.

Мы ползли и ползли, пока не вползли в какой-то зал. Здесь работало много кротов. Все стены зала были из чистого янтаря, и кроты выламывали его из стен, точили, шлифовали, пилили и сверлили.

— Здесь янтарь раздевают, — сердито сказал Крот. — С каждого янтаря срывают его камзольчик, причесывают и шлифуют. А потом делают из них ручки для мухобоек, янтарные мыльницы и мундштуки.

— Кому нужны янтарные мыльницы? — удивился я.

— Дуракам. Их делают глупцы для дураков.

Кроты, которые делали мыльницы, сами разукрасились как могли. Один привинтил себе янтарные уши, другой вставил янтарный глаз, третий привинтил к башмакам янтарные каблуки. Видно было, что каждый хочет показать, как сильно любит янтарь.

Мне здесь не понравилось. Янтарь тратили как картошку: жарили, варили, снимали кожуру.

И я вдруг услышал, как янтарь жалуется и плачет, ругает этих мастеров. Но они ничего не понимали. Они не знали янтарного языка.

— Это глупцы, — повторил Крот. — Они не знают янтарного языка. Ползем дальше.

Привязав покрепче щетки, я пополз за Кротом. Ползли мы, ползли и приползли в новую мастерскую.

— Здесь знают язык янтаря, — сказал Крот.

И верно, я слышал, как мастер разговаривал с куточком янтаря.

— Хочешь, я сохраню этот блеск справа?

— Угу.

— А эту неровность?

— Полируй.

Здесь все принимали во внимание, сохраняли каждый изгиб, каждую линию.

Если у какого-нибудь янтарчика было три ноги, его не мучили, третью не отрывали. Пускай не будет похож на других и живет, как может, с тремя ногами.

Четыре уха? Тоже хорошо. Пускай останется четырехухим!

Здесь каждый кусочек янтара сам выбирал, что хочет.

— Мне мельхиоровый воротник!

— А мне деревянную рамочку!

— Ну а тебе серебрянную цепочку.

И обыкновенный янтарь вдруг так поворачивался, что все удивлялись:

— Смотрите — какой красивый!

— Здесь работают художники, — сказал Крот, — которые делают не только украшения. Они создают человеческие свойства. Видишь вон ту куклу?

Я увидел соломенную куклу. В пупке у нее сиял янтарь.

— Это Хвастливость, — сказал Крот. — А вон там Зависть.

И я увидел фигуру с янтарными крыльями, а рядом другую, бескрылую. И бескрылая отпиливала у крылатой крыло.

Когда мы уходили, Крот разрешил мне выбрать, что я хочу, и взять с собою из янтарной сказки. Я, признаться, выбрал Любовь.

Это такой странный янтарь, что я не могу его описать или нарисовать.

Но когда я взял его в руки, показалось — он запел далеким голосом моей мамы. Когда я уже полз обрат-

но, остановился передохнуть, вдруг почувствовал — на меня кто-то смотрит. Это был мой янтарь. Мне стало хорошо и легко, потому что так смотрели люди, которые любили меня.

Я вылез из норы — янтарь мой внезапно исчез и засиял вдали, как звезда. И я сразу узнал его. Среди тысяч звезд я всегда узнаю свою.

Вернувшись домой, я положил его на стол, и мне никогда не бывает с ним скучно.

В новогоднюю ночь он горит бенгальской свечой, по вечерам пахнет сосновыми цветами.

Порою он разговаривает со мной. И если я устал, он найдет слово, от которого проходит усталость.

Когда приходит ко мне неважный человек — янтарь мой меркнет, а уж если хороший придет — оживает янтарь и сияет так, что у меня сердце кружится и глаза становятся теплыми.

Мне хорошо и легко жить с моим янтарем.

А Крота-то моего я больше не видел. Видел разных кротов, но того, с янтарным зубом — крикс! крикс! крикс! — не видел.

Если встретите его — не бойтесь, смело ползите с ним, и он приведет вас в янтарную сказку. А может, и в другую.

Все равно мы все еще встретимся.

Может быть, в цветной сказке, а может быть, в сказке запахов.

Сказок ведь очень много, и они никогда не кончаются.

## **ПЕСТРАЯ СКАЗКА**

Дестрые бывают разными.

Есть большие Пестрые, а есть и маленькие.

Найти их очень трудно.

Обычно они лежат среди камней на берегу моря. Маленькие Пестрые лежат среди гальки, а уж большие — среди больших камней. Ищите в камнях, там вы их найдете!

Чтоб отличить Пестрого от камня, надо руку приложить. Если рука станет пестрой, значит, это Пестрый, а если нет — тогда это обыкновенный камень.

Пестрые катятся по свету, как игральные кости, только бока у них пестрят разными красками. Катятся и катятся, и неизвестно, где остановятся и, главное, каким боком повернутся.

Остановятся, к примеру, возле мухомора — тогда и повернутся красно-белым боком. А если возле коровы? Тогда уж черно-белым или бело-коричневым.

Бывает, какой-нибудь Пестрый закатится и к поросятам. Недаром некоторые поросята пестрят.

Пестрые кошки и собаки, божьи коровки и даже змеи — все это Пестрый!

А видали вы форель или лосося? Вон как здорово напестрил Пестрый: такие красивые точки и крапинки — загляденье.

Все пестрые бабочки, птичьи яйца раскрашены Пестрым. И птицы тоже. Как только у птенца вырастают перышки — Пестрый тут как тут.

Латыши часто говорят: «Он пестрый, как живот у дятла».

Так вот, и живот у дятла Пестрый испестрил.

Или вот один человек спрашивает другого:

— Как живешь?

— Пестро.

Понятно, что к этому человеку Пестрый подбил и все путает. Ну, например, утром надела Ильзита белое платье, пошла в лес гулять да и села на чернику. Или вот Янис начал писать да уронил кляксу, стал ее стирать — вторую ляпнул от волнения. На две кляксы выкатились из его глаз три слезы.

— Как дела, Янис? — спрашиваю.

— Пестро.

Когда на дороге прокалывается у машины шина, когда с самого утра куда-то опаздываешь, когда маленький брат хватается за угол скатерти и все стягивает со стола на пол — тогда пестро.

Люди говорят: пестрая жизнь. Это значит, что были в жизни белые дни и черные дни, желтые дни зависти, синие дни надежд.

Попросите бабушку, и она вам расскажет про Пестрых. Она часто говорит:

— Рябит в глазах, пестрит в глазах!

Она хорошо знает Пестрых. У нее длинный и пестрый век.

Что Луна пестрая — это вы, наверно, давно заметили. А кто не заметил, пусть приглядится получше в круглые ночи полнолуния. На Луне раньше космонавтов Пестрый побывал.

Ученые говорят, что и Солнце пестрое, на нем есть пятна. Во дает Пестрый, даже на Солнце пробрался!

Да кто он вообще такой? Почему он около этой собаки остановился, эту тетрадку испестрил, эту корову назвал Пеструшкой? Почему у одного мальчишки есть веснушки на носу, а у другого нет?

Этого я не знаю. Это надо ученых спросить. Я только сказку рассказываю, а ученые Пестрых ловят и изучают.

Если вы не найдете Пестрого на берегу моря среди камней, сделайте так: положите вечером на стол открытую коробку с акварелью и поставьте стакан с водой. По сторонам расстелите белые листы бумаги. Утром, когда проснетесь, сразу увидите — все листы пестро перепачканы. Пестрый ночью играть приходил.

Вначале он берет стакан воды и обливает все краски, каждый акварельный кирпичик. После начинает по ним

бегать взад-вперед, как по клавишам рояля, а с клавиш прыгает на бумагу.

Одни говорят — это он так играет, другие — тренируется.

Лучше всего Пестрого знают художники. Он художников не боится, и они его тоже.

Когда художник пишет картину, Пестрый сидит на палитре, насвистывает и краски смешивает. Пестрый — помощник художников.

Недавно я печку переключивал и хотел договориться, чтоб один Пестрый, приятель художника Земзариса, пришел ко мне глину месить. Ничего не вышло.

Земзарис спросил Пестрого, не желает ли он пойти к Зиедонису глину месить. А Пестрый говорит, пусть Зиедонис сам месит или позовет Серого. Пестрый не станет все краски смешивать в один цвет. А вот что-нибудь серое красиво разукрасить — пожалуйста.

Ну, хватит. Нельзя такие пестрые сказки так длинно писать — в глазах начинает рябить. Когда вы эту сказку будете читать, время от времени поглядывайте в зеркало: как там глаза, не стали ли рябыми? А если они рябые или пестрые — отдохнуть надо.

## ЧЕРНАЯ СКАЗКА

Это — черная сказка.

Такая черная, что ничего не видно. Конечно, в ней что-то есть, а что именно — не видать.

А ну-ка закройте глаза да завяжите их черным платком. Ну? Теперь вы понимаете, как темно в этой сказке? Даже черта не видно. Можно только в темноте руками размахивать да ощупывать. Темно, как в аду, правда?

Между прочим, эта сказка и происходит в аду. Нашупали этого, косматого? Думаете, это Янцис? Ничего

подобного, это сам черт. Черный, как обувная щетка. Этим бы чертом башмаки почистить. Нос у него набит пеплом. А рот? Засуньте-ка ему палец в рот! Чувствуете? Полон рот пепла.

Только не щекотать его, а то чихнет — вся сказка рассыплется, как пепел.

Шупаем дальше. Что-то вроде ящика. Это телевизор! Черт смотрит телевизор!

Ну и дела! Черный телевизор, в котором ни черта не видно. Черт, может быть, что-нибудь и видит, а может, и не видит, но смотрит упорно.

На телевизоре что-то лежит. Чувствуете? Книга. Чернющая. Черти только черные книги и читают, а чертенята нарочно из книг буквы выгрызают, чтоб другим нечего читать было.

Чертенята вообще очень завистливы. Черная зависть! Слыхали?

Получит, например, какой-нибудь чертов ребенок на уроке двойку и давай скакать от счастья, а уж другой у него из дневника эту двойку выгрызает от зависти. Выгрызает, понимаете? Ну, выедает, выкусывает, выкушивает. И все от зависти. Для чертей ведь двойка или кол — любимые баллы. А уж хуже пятерки нет.

У чертей вообще все наоборот. Молоко пьют черное, сахар сосут черный. Вода у них тоже какая-то черноватая, не поймешь, грязная, что ли?

По утрам черти чистят черные зубы черным зубным порошком да еще и черной водой полощут, чтоб ни одного белого пятнышка на зубах не было.

Один чертов сын как-то не вымыл уши черной водой — вот шуму было! Чертов учитель за ухо его схватил да и целый флакон туши в ухо!

Ладно, шупаем дальше. Кто-то сидит. Кто это здесь сидит?

Чертенюк. На черном ночном горшке. Осторожнее с ним, начнет еще кричать черным-пречерным го-

лосом. Придется свет зажигать, глядеть, что случилось.

А света у чертей в квартирах быть не должно! Если свет вдруг проник куда-нибудь в коридор — его тут же ловят, да по лучику в снопы связывают, в черные газеты заворачивают. А когда черти выйдут на свет, пойманный свет выбрасывают вместе с газетами.

Один чертенок карманный фонарик где-то раздобыл, притащил в ад. Видели бы вы, какой переполох поднялся. Созвали суд да чертенка этого из ада повытолкали, до сих пор обратно не пускают.

Он теперь вечерами по улицам шастает, карманные фонарики у прохожих отбирает.

Трудно, конечно, ему приходится. При свете жить чертям очень тошно, так же, как и нам жить в темноте. Поэтому открывайте-ка, братцы, скорее глаза.

## БЕЛАЯ СКАЗКА

Вчера выпал снег, и теперь все белым-бело. Так бело, что ничего не видно.

Белая курица снесла белое яйцо да и потеряла его в снегу!

Белый петух спел белую песню. Она взлетела под крышу да и примерзла там. Висит себе, как белая сосулька.

У белки белой бельчата родились белые-пребелые. Попрыгали на белые елки. Белка бедная ищет—не найдет. Деревья белые — бельчат не видно.

А я сам по лесу иду, не пойму, где дерево, где белый день.

Чернила у меня в чернильнице побелели. Пишу-пишу, а не вижу, чего написал. Как это вы все читаете?

Ладно, белого хлебца пожую, белым кофейком ото-

пьюсь, ботиночки почищу белым гуталином и на речку пойду.

Речка наша — Гауя \*, — сами понимаете, лежит белая в белых берегах.

Я кинул спиннинг — щуку белую тащу. Распорол ей брюхо, а в ней белый утенок (обжора белая!).

Я утенку в хвост эту сказку воткнул — пускай летит по белу свету.

Как поймаете утенка, грейте ему живот белою грелкой! Каждый вечер! А яйцо снесет белое — сразу мне пишите:

Белому Кроту на берегу Гаун.

Можете, конечно, все это нарисовать, но только белыми, без единой черной черточки!

## ЖЕЛТАЯ СКАЗКА

Солнце, как яичный желток, висело над землей.

А по лучам на землю шли цыплята, и все они были, конечно, желтые.

Желтая пчела подлетела к цыпленку, стала приглашать в свой желтый улей. Но цыпленку в улей не залезть, дырочка маленькая.

«Ладно,— подумал он.— Вон желтые бабочки летают, полетаю с ними».

Цыпленок подпрыгнул, но тут же вспомнил, что у него крыльев нет, полоски какие-то вместо крыльев.

«Стану курицей,— мечтал цыпленок.— Буду летать высоко».

А солнце сияло на небе, как желтый блин с такими вкусными хрустящими краешками.

Пчелы летели от одуванчика к одуванчику и воз-

---

\* Гауя — так называется речка в Латвии. Это слово я не умею перевести. Зато у нас в России есть речка, которая называется — Белая. Я там живу. (Примеч. пер.)

вращались в свой желтый улей. Он выглядел как огромная желтая библиотека. Рамки для сот будто полки до потолка, и все наполнены сотами. А соты похожи на желтые шестиугольные телевизоры, только вместо экранов блестит желтый мед.

До самого горизонта желтели луга — это цвели желтые ветреницы и примулы, но больше всего было одуванчиков. Все холмы сияли одуванчиками.

И казалось, что солнце только что на вершине холма лежало, в одуванчиках валялось.

Тут я и сам не удержался, взял да и повалился в одуванчики. Опылился весь, облепился, обсыпался желтой пылью.

Подошла желтая корова, подумала, что я одуванчик, да и съела меня, желтого. Так что писать дальше нет возможности.

## СЕРАЯ СКАЗКА

Я — Серый.

Я — серый, как мышонок.

Как птица, как пепел, как пыль.

Я — Серый, но что бы делали без меня Яркие!

Где я? Повсюду.

Вот растаял снег, обнажилась земля — серо вокруг, скучно. Весна пока что серая. Но вот лопнула серенькая скромная почка — расцвела верба. Разве она была бы так хороша и бела, если б я не был таким серым?

Вот вылезает из серой земли тюльпан, а вот и ремень высовывает свои красные, как у черта, рога!

В серых сумерках плывут над лугом белые простыни тумана! В сером поднебесье восходит красное солнышко, и все видят, как прекрасно оно.

Я — Серый. И я прихожу раньше всех красок, которых ждут люди.

Серым утром они ждут солнце,  
серой ночью — месяц,  
серой весной — цветы,  
серой осенью — снег.

Я — важный цвет, потому что все становится красивым рядом со мной.

Я помогаю краскам, и если они не могут явиться сами, выталкиваю их из себя. Пускай все глядят.

Из серой тучи я выталкиваю радугу.

Бросьте яркую пуговицу в золу. Видите? Вот она, красивая пуговица. А что там, за ней? Это я — Серый.

## КОРИЧНЕВАЯ СКАЗКА

Я его видел.

Он прыгнул на сковородку, забегал по жареной картошке, закричал:

— Коричнево! Коричнево! Готово!

Я сыпанул в сковородку перцу — он чихнул и пропал.

Кое-кто, кроме меня, его тоже видел. Он всегда появляется там, где что-то жарят. Появится и кричит:

— Коричнево! Коричнево! Готово!

Чтобы увидеть его, нужно большое терпенье. А где его можно встретить?

Там, где коричнево.

А где коричнево?

Там, где грибы-боровики.

Я точно знаю, что из земли боровик вылезает белым, а потом шляпка у него вдруг делается коричневой.

Рано утром я пошел в лес, сел под коричневой сосной, жду.

Скоро появится боровик. Да вот и он вылезает. Шапочка белая. Теперь нельзя опускать глаза. Сейчас

придет коричневый человек. Сажу жду. Никого нет. Зато вдруг кто-то чихнул. Оглянулся — заяц! Чихает! Простудился, что ли?

Посмотрел на гриб, а он уж коричневый. Тьфу, черт подери, проморгал человечка.

Ладно, погляжу на другой боровик. Теперь уж не промахнусь.

Гляжу, гляжу, гляжу, смотрю, смотрю, смотрю, приглядываюсь, пялюсь, глаза таращу.

Вдруг в стороне муравей запищал, коричневую ногу вывихнул, хромает, жалко. Вправил ему кое-как ногу — а боровик-то уж совсем коричневый. Опять человечка проморгал.

Ладно. Сделаю так. Залезу в дырку, которую в грибе червяк прогрыз, спрячусь и буду ждать!

Задумал — сделал. Залез, жду. Вот он, ха-ха-ха. Идет. Залезает на гриб! Только залез — я выскакиваю, а он — гоп! — прыгнул в бруснику и исчез.

Однажды я искал его в орешнике, как раз когда орехи коричневели. Пока ищу в одной грозди — он в другой. Только и слышно:

— Коричнево! Коричнево! Готово!

Уселся я у одного куста. Здесь буду ждать. Покрасит все орехи — придется и сюда прийти. Жду час, два, три. Жду день, жду два.

Вдруг прилетела коричневая пчела, запуталась в волосах. Так жужжит, что лес дрожит. Но я-то знаю, что это нарочно, чтоб я испугался, чтоб не видел, как приходит коричневый человечек. Пускай жужжит и жалит, а я смотрю на гроздь орехов — и точка!

Дзинни! Прилетела коричневая мушка — дзинни! — влетела в глаз!

Пока слезу вытирал, гроздь уж коричневая, готова!

Понял я наконец, что Коричневый не хочет, чтоб его выслеживали, и перестал ему надоедать.

Но вот прошлым летом лежу у моря, на пляже, и вдруг вижу — у Яниса на спине сидят целых семь штук! Семь коричневых человечков красят Яниса.

— Янис! Янис! — закричал я. — Смотри-ка, что у тебя на спине! Семь коричневых человечков!

— Ладно врать-то, — засмеялся Янис. — Это ты мне песок на спину сыплешь, щекочешься. Таких человечков на свете нет!

— Да как же нет, если я сам вижу!

Жалко, что никто не знает, где живут коричневые человечки. Одни говорят — в медвежьей шкуре, другие говорят — в желудях, третьи — под сосновой корой.

И никто не знает, как их зовут. И я не знаю.

Коричневики?

Коричневисты?

Коричневяки?

Вы-то не знаете? Не слышали?

## СКАЗКА С ПУГОВИЦЕЙ

Пуговица и Шпилька сидели в кафе.

Пуговица была молоденькая, а Шпилька повидала немало и была в жизни немного разочарована, потому что никогда не могла отличить настоящие волосы от искусственных.

— Главное, — говорила Шпилька, — берегись, чтоб тебя не пришили.

Пуговица слушала разинув рот.

— Всекие иголки теперь водятся, — продолжала Шпилька. — И ниточки. Пришьют за милую душу.

Пуговица напугалась. Кое-как допив кофе, она бросилась бежать и дома сразу спряталась под кровать. А под кроватью Шило валялось, которое, как ни крути, было похоже на иголку.

— Как жизнь, Пуга? — приветливо спросило Шило.

— Нормально, — ответила Пуговица, вскочила в ужасе на стол и бросилась в кисель. В киселе было как-то спокойней.

Вылезши из киселя, Пуговица отряхнулась. Шило пока не пришивало. Зато неподалеку Пуговица увидела Вилку. Лежит, не шевелится! Но уж если тебя пришьют вилкой! Вот ужас-то!

Содрогаясь, Пуговица выскочила на улицу. А на улице — еж! Вот у кого иголки! Пришьют где-нибудь в холодной канаве!

Пуговица дунула по тротуару, вдруг видит — телевизионная башня! Игла! Ужас! Ужас! Если такая пришьет — о-го-го!

Пуговица прыгнула вправо-влево — и ляпнулась в асфальт. Он был грязный. Пока вылезала из асфальта — все дырки позабывала. Побежала домой, к киселю поближе. С ним как-то спокойней. Уж кисель никогда не пришьет, разве немного замочит.

Вдруг видит Пуговица: на углу автомат с газировкой. У автомата Молния стоит. Не та, что в небе гремит, а та, на которую куртки застегивают.

Молния пить хотела, а трехкопеечной монеты у нее не было.

— Эй, Кружочек, — крикнула она Пуговице. — Иди-ка сюда, я тебя в автомат брошу, пить охота.

— Я не Кружочек. Я — Пуговица.

— А где ж твой дырки? Как Пуговица ты не проходишь. Глянь в зеркало.

Пуговица глянула — и верно: все дырки забились смесью киселя с асфальтом.

— Ты, наверное, Вилка, — смеялась Молния, блистая медным зубом, — или ложка? А может, ты самолет?

— Я — Пуговица.

— Коррова ты! — грубо сказала Молния и толкнула Пуговицу плечом.

Стал собираться народ.

— Барахло! — кричала Молния, и тут откуда не возьмись — Иголка.

— Иди-ка сюда, — поманила она Пуговицу пальцем. — Пойдем-ка к Нитке.

Пуговица совсем растерялась, и Иголка отвела ее к Нитке.

Нитка сурово глянула на Пуговицу:

— Ты где пропадала?

— Да я так...

— Служила?

— Да нет, я с киселем...

— Ах, ты была свободна, — сказала Нитка и прочистила Пуговице иголкой один глазок. — Это хорошо. — И она прочистила другой глазок. — Хорошо быть свободным. — И она прочистила третий. — Но в киселе нет счастья, надо делом заниматься. — И она прочистила Пуговице последнюю дырку и тут же иголочкой ее и пришила.

Пуговица огляделась. Рядом с ней были пришиты и другие пуговицы, которые все время застегивались. Все вокруг было застегнуто.

Даже небо. Днем застегнуто оно на Солнечную пуговицу, ночью — на Лунную.

А там, далеко-далеко, в глубине небесного свода, всегда мерцают над ними звездные пуговички. Они держат на себе огромные миры, чтоб те не рассеялись в пространстве.

#### СКАЗКА О ЧЕРНОТЕ ПОД НОГТЕМ

У меня под ногтем Жадина объявился. Сидит и грязь собирает, ну, эту, ногтевую черноту.

Я-то рыбу ловил, червей копал, под ногти земля на-

билась, а он ее всю себе забрал. А ведь это не его земля! Эта земля принадлежит клубнике!

Мы поссорились. Я схватил пилку для ногтей и вычистил ногти.

Жадина заорал, как будто его режут!

— Ты мою собаку задавил! Я в суд подам!

Да какая у него собака? Думаете — ньюфаундленд? Микробтерьер самый паршивый! Такого проглотишь — понос на всю жизнь!

Через пару дней смотрю — опять Жадина под ногтем сидит, а с ним целая свора микробтерьеров. Сидит, ногтевую черноту копит. И набрал кое-что — три пылинки каменного угля, две занозы и немного сливочного масла с того бутерброда. Слепил все это вместе — тут у него якобы будет горный сад! Он будет грядки копать, ранний салат возвращать!

Ну я взял пилку и ногти почистил.

Ужасно заорал Жадина.

— Ты у меня драгоценный камень украл!

Какой камень? Песчинка сахарная!

Слава богу, что у меня только один Жадина. А у Юрочки — десять! \* А летом — честно сказать — двадцать! Юрочка летом босиком ходит.

У него Жадины богато живут. Он их бережет и даже, когда руки моет, кончики пальцев пластырем заклеивает. Любит, значит.

## САХАРНАЯ СКАЗКА

Сладкун скроил кислую мину. Губа у него дрожала.

Только что ему рассказали кислую сказку, а Сладкун кислых сказок не терпел. Он любил сладкие сказочки, гладкие и сладкогладкие.

---

\* Совпадение имени героя с именем переводчика — чистая случайность. (Примеч. пер.)

Уши у него давно засахарились. Он их на ночь в сахарницу клал.

Другое дело Гладкун. Он по ночам с ушами не возился, а перед каждой сказкой просто-напросто сыпал в ухо сахарную пудру.

— Гладкуля,— говорил Сладкун,— засахароходи на полсахарочасика!

— Ах, сахароконечно посахаростарюсь!

— Посахаростарайся посахароскорее! А я тебя посахароблагодарю!

— Засахаришь?

— Засахарю, тебя я сахаролюблю, обсахарю-харю-харю!

— Хрю! — сказал Боров, который услышал этот разговор.—Хрю! Кто звал меня?

Сладкун с Гладкуном дико обрадовались.

— Ах! Сах! — воскликнули они. — Рассахаро-прекрасно! Какой сверхсахаросюрприз! Ты будешь у нас Суперсахаросвинья! У тебя родятся сахарохрюшечки — сахарюшечки — сахаряточки — поросахаросяточки...

— Я — честный жирный Боров! На кой ляд мне ваш сахар?

— Ах! Сах! Сахароборовуля, ты сахаронеправ!

Боров слушал всю эту сахарную ерунду, пока не почувствовал, что у него на кончике хвоста расцветает кусок сахара. И пяточок становится сахарным, и сердце отвердевает в сахарном панцире.

«Помоечку бы мне»,— подумал Боров и отдал концы.

А Сладкун и Гладкун все говорили и говорили, и их уста и впрямь становились сахарными, и в конце концов первая буква в имени Гладкуна рассахаросердилась и превратилась в С. И он стал тоже Сладкун.

А после стали засахариваться и другие буквы, и с именами началась полная путаница:

С л а д к у н  
С л а с т у н  
С л а с с у н  
С л а с с с с  
С с а с с с с

Теперь уж они и говорить ни о чем не могли, потому что превратились в чистейший рафинад. Пора их было к чаю подавать.

Сахарные руки, сахарные плечи,  
Сахарные стуки сахаросердец —  
Сахарозастыли сахарные речи,  
Сахаросказке — сахароконец.



---

# Курземите

---

*«Курземите» для простоты, что ли, любят называть очерками. На самом деле это социологическое и эстетическое исследование. Его дух и пафос можно выразить так: «Настало время поработать моему поколению, ответственность за жизнь берут мои ровесники».*

*Курземе — одна из четырех исторических областей Латвии. А Курземите — ее ласкательное название (русский говорит: «Волгаматушка»). Для Курземской возвышенности характерны древние долины ледниковых вод. Для автора книги «Курземите» характерна борьба за охрану своей древней земли от циничного вмешательства бесхозяйственности, которое страшнее любого движущегося ледника. Вот и стали темой книги культура и экономика, природа и ее место в народной истории и в нашем духовном мире, человек и широта (или узость) его жизни, вкусов, потребностей.*

*«Курземите» — книга документальная и дерзкая.*





В Добеле живет человек, которого называли всеми синонимами слова «чудак». Может быть, потому, что его шаг не измеришь обычной мерой, может быть, потому, что в его сад и в его дом так трудно попасть. Оттого, что он живет по принципу «отгородиться от лишней информации». Разве вы не знаете, как засоряется озеро, в которое впадает река с излишним илом и песком? Разве вы не знаете, как люди целыми вечерами просиживают у телевизора, засоряя себя ненужной информацией наряду с нужной? И разве может человек сделать что-нибудь путное за свой короткий век, если у него нет своего принципа отбора «что мне нужно» и «что мне брать», если нет правильного баланса между восприятием информации и ограждением себя от нее? Сегодня человека без воли, целеустремленности и без вкуса поток информации может растворить и превратить в безумный и беспринципный хаотический клубок. Следовательно, наш Чудной человек (будем называть его так, пока не познакомимся с ним поближе) живет по принципу «отгородиться от ненужной информации». Не встречаться, не говорить с людьми, которые никак не способствуют и не могут дать никакого нового импульса. «Ты лучше будь один, чем с кем попало быть». Так говорил и восточный мудрец Хайям. Я понимаю, что у человека, который регулярно, систематически работает 16—19 (а в среднем 18) часов в день (и которому уже пошел 72-й год), который запрограммировал около 1500 сортов плодовых деревьев, вырастил уникальный абрикосовый сад и «вырвался» с ним на 900 километров к северу от «абрикосовой границы», что у человека, который является членом крупнейших в мире обществ по выращиванию роз, ирисов и северного ореха и одним из двух садоводов Советского Союза, которые числятся во всемирном списке людей, выращивающих лилии (второй — москвич), я понимаю, что у

такого человека нет времени. «Напишу, чтобы меня исключили из общества ирисов. Нет времени, не успеваю, а кое-как — нет, не хочу подрывать государственный престиж», — говорит мастер.

Его дом — самый богатый в Добеле. Богаче Добельского отделения Госбанка. Здесь каждый угол, каждый ящик и туесок заполнены семенами.

В этом неприглядном царстве ящиков и бандеролей дремлют души прекраснейших растений мира. На бандеролях название неизвестного миру местечка — Добеле, Добэле, Добеле — на каждой по-разному, но за этим словом скрыта любовь целого народа к прекрасному, к цветам, и греховно прекрасным, и одухотворенно-хрупким цветам. И он, старый человек, может быть, и является квинтэссенцией этой любви.

Французы говорят: «Свои чувства провозглашать цветами!» И разве только французы говорят это? Не сказано ли об этом и в латышской народной песне?

Знать бы мне, какой дорогой  
Будут увозить меня.  
Я ее усыпала бы  
Маками роскошными.

Или:

Что здесь за земля-земелька,  
Коль цветы не расцветают?  
Принесла вот в горсточке я  
Наших мест ромашечку.

Из фотожурнала общества лилий тянутся лилии, буквально вылезают наружу своими ароматными желтыми, белыми и всех расцветок чашечками. Это иллюзия трехмерного пространства. Фотографировал сам король лилий из Орегоны.

— Первая скрипка мира. Обещает приехать в гости и сюда, в Добеле. Это японские, это новозеландские лилии. Это...

Мне слишком много для одного раза. Это как дышать кислородом. Сначала видишь реалистические фор-

мы и цвета, но потом перенасыщаешься, и эта красота ошарашивает тебя цветной сказкой.

— Фотографировать? Это значит схватывать «неуловимо проходящее», как сказал Гёте,— снова ворча бросает сентенцию Чудной человек, и мы переносимся в другой цветной мир — мастер показывает свои диапозитивы.

Рассказывают, что Чудной человек раньше часто бродил по Латвии с мешком за спиной, а в мешке громыхали кассеты с фотопластинками. Начинаются водопады красивейших в республике флоксов. Волны сирени. Нас захлестывает. У нас очень низкий порог восприятия красоты, нам все кажется прекрасным, а ему — только отдельные цветы, тот или иной ракурс либо какая-нибудь невиданная игра света. Вот она, грациозность розы,— не так-то легко заснять этот вытянутый бутон. А эта в память о матери — «Мать Эде Упитис», «Письмо к Сольвейг», «Добельский мечтатель» — все собственные сорта.

У Чудного человека есть все изданные у нас произведения Омара Хайяма и всемирная библиография его поэзии. Он говорит мало, о чем-то думает и время от времени бросает какую-нибудь фразу, словно рассуждая с самим собой, например: «Пыльца цветов на твоих руках. Ты пленник цветов земли», «В Нишапуре — целый холм роз у могилы Хайяма», «В поэзии нет ничего законченного. Оттого-то она и нравится людям», «На нашем веку солнечные закаты никогда не повторяют себя. Но и это надо увидеть — эти солнечные закаты не повторяются».

И снова пауза.

— Взгляните на этот абрикос. Он связан с древней историей. Он из Монголии, из буддийского монастыря, что близ станции Ицзими и поселка Ку-цотенза, из монастырской рощи, растущей над могилами членов династии, царствовавшей когда-то в Китае.

— Не надо переводить то, что можешь прочитать в оригинале. Языки друг друга дополняют. Ведь каждый язык ограничен,

Я не успел спросить, на скольких языках он читает. Все деньги уходят на переписку, на книги лучших специалистов мира, на информацию, на фотографию.

В этом доме царят свой ритм и гармония. Несмотря на кажущийся хаос и беспорядок — на то, что вместо книжных полок целые каскады фруктовых ящиков, что посередине комнаты груды книг, что мастер пишет и работает на перевернутых ящиках, что нет здесь ни одной вешалки и вообще нет в стенах ни одного гвоздя. (Почему — очень много тут этих «почему»!) Все здесь происходит по каким-то иным, еле уловимым, еще не расшифрованным тобою закономерностям, и посмотрит-ка — все в этой якобы неразберихе подчинено твердой творческой воле и приносит свои плоды.

Словно поняв, о чем я думаю, мастер смотрит на меня. Около 1910 года была издана книга о вежливости. В ней говорилось: «Если ты в гостях, то никогда не требуй, чтобы там было так же, как в твоём доме». В этом доме нет ничего съестного. Но на столе появляются замечательные сорта груш — те, что тают во рту, оставляя после себя только два-три черных семечка. Их надо положить на край тарелки, это то, ради чего он родился и жил в некотором смысле аскетической, но созидательной жизнью. После войны, когда по весне в садах истекали соком обрубки яблонь, он ездил на старом велосипеде по Латвии как «ученый наемник» и разбивал для колхозов и совхозов яблоневые сады. Фанатично и одержимо, по принципу: «Фрукты ваши, деревья мои». Это означает: семена и эксперимент — мой. Ему, самоучке, предлагали место лаборанта, он отказался: «Лаборант — это посудомойка». Появилась идея создать Сад мирового ассортимента. Пришло предложение оформить Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (тогда она еще называлась так), прислав фотографии

лучших видов растений. Друзья зовут его мастером. «Ездим с мастером по всей республике, ищем образцовые виды растений. Он показывает один — чудесный. Находит второй — чудесный. Находит третий — еще прекраснее. Четвертый — я уже не могу. А он может. Он просто перенасыщает. Сам не зная усталости, он может замучить другого. Трудоспособность у него огромная.

Может быть, эта трудоспособность и эта страстная самоотдача становятся где-то драматическими, даже трагическими. Мастер не терпит рядом с собой ни ассистентов, ни близких, ни друзей, которые «не могут выдержать», «не вытягивают», не работают с абсолютной отдачей, не жертвуют всем своим временем и энергией. Это, конечно, рождает сложности. Немного друзей у человека, требования которого кажутся ненормальными и который обо всем говорит откровенно, с грубой прямотой.

«Вы хотите, чтобы мне плевали в глаза, а я говорил — божья роса?»

Как-то одному человеку понадобилась докторская степень, и он сказал мастеру: «Давайте работать вместе». На чистом латышском языке мастер послал его, вы догадываетесь куда. Тогда этот «человек с положением» напечатал в научном издании статью об уклоне Чудного человека в сторону «народного селекционирования». А Чудной человек вовсе и не скрывал, что он учился у народного селекционирования, продолжал работать, как и всегда, по 16—18 часов в сутки.

— В народном университете я слушал лекции Жакова (Райнис и Аспазия тоже приходили слушать), — говорит мастер. — Жаков имел обыкновение говорить: «Жизнь человека — это проверка его терпения». И у англичан есть такое выражение: «Every cloud has a silver lining».

Я удивляюсь этому упорному человеку. И многие

до меня удивлялись. («Когда встречаю в жизни трудности, первым делом вспоминаю вас в качестве воплощения и образа этой республики, латышского народа, творческого гения и трудолюбия».)

Высокий лоб, пушистые седые волосы, «последние, улетающие». Сейчас он увлекся, загорелся, костыль упал к ногам, и острыми пиками стоят в углу обструганные колышки. Лютуют звуки «Кантины торрерос» — «Кабачка тореадоров». Жизнеутверждающе и гордо. Это его гимн. Каждое утро Чудной человек начинает им свой день и каждый вечер оканчивает им. «Это кабачок, куда заходит тореадор, если бык не поднял его на рога». Стереофонический проигрыватель стоит на ящике в какой-то полуоранжерее-полуверанде, под канарскими пальмами. Весь пол уставлен ящиками и граммофонными пластинками. Чудной человек предлагает нам послушать два из «сорока величайших шедевров мировой музыки»: «Вальс цветов» Чайковского и «Баркаролу» Оффенбаха. «И еще один из красивейших вальсов мира», — говорит мастер. Звучит «Коппелия» Делиба, потом «Голубой Дунай», исполняемый на органе, запись ночных трелей соловья, хор мормонов, «Полька пивной бочки» (это только одна из семи самых бешеных полек мира — «Polka all the Way») остаются непрслушанными все реквиемы («лучший траурный марш у Вагнера»), все Бетховены, лучшие дирижеры («Тосканини, Мравинский, выделяется и наш Янсон»), весь Яша Хейфец («Лучший скрипач, у меня все его пластинки есть, которые можно получить»), но день короток, уже опускаются сумерки, и я опять перенасыщен. Мастер это чувствует и говорит: «Закончим моим гимном». В темноте кажется, что ящики разваливаются, семена как бы пробуждаются внезапно, все луковицы лопаются одновременно, и мы, паверное, не выйдем живыми из этого дома. Ростки разрывают бандероль с марками всего мира, а из чашечек лилий, как из труб огромных граммофонов, течет в комнату благоухание.

Смешение запахов, и красок, и звуков, и очень хочется жить с такой же чертовской одержимостью, с какой живет этот старик и благодаря которой сады цветут, и люди замедляют шаг и удивляются: что же это за человек, создающий все это, и существует ли он вообще? Уже поздний вечер, и мы, почти ни слова не говоря, расстаемся. Мы уезжаем туманным осенним вечером, и он, седоголовый, с поднятой в прощальном приветствии рукой, остается на пороге своего дома, и какой-то комок застревает у нас в горле. Он создал около 1500 потенциально новых сортов, и только через 140 лет все эти сорта будут проверенными, апробированными и рекомендованными для распространения в садах его родины. Но ведь он не увидит! Каждый отец хочет увидеть, как его дети начинают самостоятельную жизнь, а он не дожидается этого. Работая нынешними темпами, Бауской станции по испытанию новых сортов пришлось бы работать целое столетие, чтобы высеять запрограммированные им семена, вырастить и привить их, дождаться плодов, еще раз посеять и еще раз дождаться плодов. К тому же Бауская станция работает с белорусскими и эстонскими сортами, в то время как саженцев мастера требуют литовцы (опять мы не сумели оценить что-то свое), и мне приходит на ум недавно услышанная фраза: «Жизнь человека — это испытание его терпения». Иногда это терпение становится мастеру поперек горла, и тогда он выпускает свои саженцы в большой мир, дает земледельцам высаживать их еще «не крещенными», неапробированными.

У мастера есть ученая степень кандидата наук, Государственная премия, орден Ленина, ему нужны земля и стимул — сознание, что этот труд очень нужен кому-то. Если создатель стоит у какого-нибудь абрикосового деревца и, продемонстрировав тебе все свое мастерство воспитателя, спрашивает:

— Ну, скажите, как оно чувствует себя, это дерево? — то он хочет, чтобы ты ответил:

— Оно чувствует себя прекрасно.

— Ну, каков этот плод на вкус?

— Прекрасен

Ведь это так естественно! Разве трудно понять, что труд человека жаждет признания и что настоящее признание — это не ученая степень, не звание лауреата, а такое положение, когда из его сада маленькие абрикосики отправятся в другие сады, когда в другие сады переселится его «Золотая смородина». Едем через Добеле, вокруг сады. Вы говорите, что абрикосовые деревья растут и плодоносят только у него одного, в Добеле, в тамошнем микроклимате. Ну так и выращивайте их там! В Добеле, во всех добельских садах, во всех окрестностях! Чтобы был у нас свой абрикосовый город! Или народ такой несознательный, что не способен понять того, что дает ему его же талант? Он ведь требует только одного: чтобы колхоз разрешил на склоне холма разбить плодоносный абрикосовый сад (этот, здесь — экспериментальный). Под сказочно богатыми абрикосовыми деревьями (я видел это в самую пору созревания фруктов) растут маленькие деревца — они выросли уже самосевом. Это значит, что абрикос наконец полностью акклиматизировался или, как говорит сам хозяин сада: «Абрикос уже настолько сбит с пути истинного». Наконец-то, после шестидесятилетнего труда! «А это мой «Прекрасный друг». К деревцу надо подходить со стороны солнца».

Со стороны солнца мы подходим к кустам витаминного шиповника, чьи плоды величиной с яблоко-дичок. В Литве государственным планом предусмотрены декоративные посадки витаминного шиповника — 250 тысяч саженцев ежегодно. У нас его еще не культивируют, хотя в этом саду находятся сказочные богатства витаминного шиповника. Человек из сада не хочет ничего: только давать. Пусть берут, пусть высаживают. Ради этого-то он и работал.

Страна полна великими талантами. Эгонизм таланта ничтожно мал в сравнении с тем, что он может дать. Так ли уж трудно примириться с чудачествами таланта? Почему? Что делает вас нетерпимыми? Высокая этика его труда? Его отвращение к поверхностной работе? Или то, что он не въезжает в дом, где только что навешенные двери перекошились («Разве это двери? Разве их можно закрыть? Разве таким должно быть окно?»). Может быть, слишком преувеличен его максимализм, когда он иронизирует: «Ошибаться — это человечно», — сказал петух, спрыгивая с утки. В подобном случае — да. В других — нет». Но возможно, что он иронизирует в этом случае и над собой, понимая, что ошибаться — это человечно, но он абсолютно отрицает право человека маскироваться этой иезуитской самокритикой.

Рассказывают, что у нашего Чудного человека немало плохих качеств, но не об этом я хочу говорить. Я проследил одну данную природой черту, которая доведена в этом человеке до гениальности, до такой самоотдачи, что многим это кажется ненормальным или, уж во всяком случае, курьезным. (Да ну, чего там. Он же чудак.) Как будто гениальность может и не быть чудной, как будто гениальность уже сама по себе не является отступлением от нормы. Этим я хочу сказать, что слишком мало мы помогаем тем людям, которые в силах создать нечто неповторимое, нечто такое, что могут создать только они. Нельзя приказать молнии: «Ты пока не сверкай! Накопятся еще две-три молнии, тогда и сверкайте все вместе».

Талант — сила стихийная, и если он посылает свою молнию туда, где необходимы нам свет и дождь, то пусть он сверкает, озарит, пусть полыхает, будучи даже одним-единственным. Наша обязанность помочь ему.

Такой вот стихийный творческий порыв, могучая страсть к созиданию владеют этим человеком. Его зовут — Петерис Упитис...

— Ты знаешь, кого бы я собирала, каких тварей божьих? — рассуждает Унигунда. — Ты вот не обращаешь внимания, а я первым в каждом дворе замечаю петуха. Мне кажется, что он гордость двора, у него такой большой и красивый гребешок, ниспадающий на глаз. Когда дядя Вилис вернулся с работы и лег отдохнуть, петух взлетел к нему на грудь и задремал там. Огромный такой, могучий петух. Когда эта тетенька в том доме сказала, что у нее есть петух и семь курочек, мне показалось, что не так уж бедно ей живется. Вот только я не понимаю, как он один... Наверное, каждого петуха надо было бы держать со своей курочкой.

Сегодня утром мы слушали, как устремляется к небесам петушиная песня. Мы стояли на холме. Было тихое утро. В низине — синие леса, и петушиная песня по шапкам елей, как по ступенькам, взбегаёт все выше и выше, потом налетает на какую-то вершину и обрывается. Если почувствовать это, можно часами слушать, как песни, словно новогодний серпантин, взлетают одна выше другой и падают вниз. И когда они падают обратно, на еловые ветки, то сами ели кажутся по-новогоднему украшенными — длинными, яркими, цветными лентами.

Иногда петушинные песни кажутся похожими на прыгунов с шестом, и у каждой песни свой стиль. Особенно забавны песни молодых петушков — они отталкиваются и летят и всегда пролетают под планкой. И никогда они (петухи) не устанавливают планку соответственно своим силам, нет, они прыгают наравне с большими петухами и — айда! — опять пролетают под планкой. А потом они идут к курам и рассказывают, что сегодня утром принимали участие в состязаниях, именно так они и говорят — «принимали участие в состязаниях». И в этом нет ничего смешного — это даже трогательно, так же трогательно, как малыш в отцовских брюках. Будь я мини-

стром песнопений, я бы в нашей республике проводил состязания по петушину пению.

Представьте себе, какая это была бы «утренняя меса»! Какой бы это был народный праздник! Сначала соревнования между фермами, потом, ранним утром, провести межколхозные и межрайонные соревнования. Жюри съезжается еще вечером. Рассаживается на скамейках. Темно. Публика дремлет, спит. Не спит только жюри. Внезапно — первые петухи. Кто раньше? Кто красивее? Кто осмысленнее? Кто эстраднее? Какой круг вопросов! Какое богатство критериев! И так до восхода солнца. Финальный судья сидит на церковной колокольне и ждет восхода солнца. Солнце! Гонг! Соревнования окончены — петухам затыкают глотки и — в мешок. А потом петушиный праздник песни — заключительный концерт в Домском концертном зале. Вы можете себе представить, как ломилась бы за билетами избалованная концертами Рига!

Жаль, что латышские народные песни с недостаточной силой воспели мощь и красоту петуха. В них чувствуется только такая семейная идиллия да охорашивание перед своей курочкой:

Всех милее птиц на свете  
Кочету его несушка;  
Сыщет зернышко в навозе,  
Плача, курочку зовет.

Или:

Шел петух, и шла несушка,  
Чтоб сыскать себе местечко,  
Курочка несла простынку,  
Он от дома ключик нес.

И хвосты их такие же, как их песни, — у одного куцый, у другого ошипанный и жиденький. Словно он, как хронический алкоголик, пропил его. Или, может быть, вел такой образ жизни, от которого люди плешивеют.

Унигунда фотографирует их. Горделивых и белоснежных — гребешок нависает на правый глаз, черных, греховных — гребень на левом глазу, коричневых и упитанных, с гребнем широким, как картофельная терка, и еще немислимо пестрых и разноцветных. Этой зимой мы будем веселиться, разглядывая цветные диапозитивы.

Жизнерадостность и воля к действию начинаются с удивления перед чудесами мира. Одно из таких чудес — песня петуха, с десятками отголосков, доносящихся из других домов. Каким образом осознает он свою миссию — герольд утра! Он пробуждается раньше, чем человек труда, — этот «рабочий петух». И не говорите, что он не важен! Во всяком случае, подумайте, прежде чем говорить нечто подобное. Идем дальше, Унигунда!

\* \* \*

В Приекуле мы познакомились с семьей коллекционеров, которые собирают созданные капризом природы камни необычной формы. Среди роз и пчелиных ульев стоят вдоль дорожки камни фантастической формы пингвины, «Хемингуэй», «Толстой». И еще здесь царит династия трутовиков. Трутовая принцесса, трутовый король, трутовая ведьма, трутовый кабан. А это основатель трутовой династии. Но самое большое богатство этого сада все-таки камни.

— Я бы не променял камни на розы. Мы уже тридцать пять лет собираем камни, с тридцать третьего года. Когда строили здание потребительского общества, я заметил много интересных камней, принес их домой. Сначала все спрашивали, не собираюсь ли я строить дом. Теперь эта «эпидемия» охватила многих, в Приекуле ею заразились человек десять. Приезжают экскурсанты, многие загораются — мы тоже начнем. Как-то, еще до войны, один крестьянин, заглядевшись на наши

цветы, въехал со своей телегой в канаву и грозил обратиться в городское управление, чтобы оно не разрешало вблизи дороги цветы сажать. Когда я демобилизовался из Красной Армии, а жена вместе с другими беженцами вернулась домой, оказалось, что танки, прошедшие по нашим камням, на полметра вдавили их в землю, пришлось вытаскивать. В нашем доме в то время располагался дежурный армейский штаб. Однажды выходит какой-то полковник, стоит, смотрит и дивится: «Что вы есть будете?» Все что-то сеяли и сажали, чтобы прокормиться. «Вот народ»,— сказал он и ушел, пожимая плечами, а потом прислал в помощь нам десять солдат с повозкой. Сегодня и не вспомнишь, как мы тогда перебивались, но сад свой все-таки вернули к жизни.

В Латвии много таких одержимых красотой. Неподалеку от Циравы живет Земдега, брат скульптора Земдеги, сад у него сказочный, рядом с экзотической «Неопалимой купиной» здесь растут гигантские лопухи, белена и коровяк. Голос у садовника громоподобный, и когда он говорит «красиво», то розы качаются. Виноград оплел его дом и даже перекинулся через крышу, и это чудесно! Коровяк — как он цветет! Удивительно! А вот у этого растения цветы огромные, как кочаны капусты, и это чудесно!

— Все мы сажали деревья, а нас было четырнадцать детей у отца. Приезжайте, когда зацветут благородные нарциссы. Они чудесны!

Над дверью его дома вырезано обещание: «Я буду воспевать тебя, Отчизна».

Эти люди в той или иной степени заботятся о красоте собственного сада. А вот поэтесса Мирдза Бендрупе рассказывала нам о двух «совсем чудных» людях. На полпути из Клапкалнциема в Апшучиемс, в лесу, есть такое местечко, куда каждое воскресенье приезжают

на мотороллере (или на мотоцикле — не помню) молодой парень и девушка и на не принадлежащей им земле высаживают деревца. Никто их об этом не просил, никто не заставлял, никто не давал разрешения. Они из того самого племени, чье кредо: «Берите плоды, только возвращайте семена». Сначала они посадили грецкий орех, потом привезли айву, тую, лимонник и, наконец, стали сажать цветы. Все было хорошо до тех пор, пока никто этого не видел, — жили себе Робинзон и Пятница в своем раю. Но из соседнего села стали приходиться люди — удивлялись, расспрашивали. Зачем? Почему? Кому это нужно? Глухие и надоедливые вопросы. Люди просто хотят сажать, выращивать, они работают в конструкторском бюро, истосковались по природе. Через некоторое время кто-то оборвал самые красивые цветы. Обычно брали самые обыкновенные цветы — тюльпаны, розы, редкие цветы непопулярны. Кто-то по своей жадности, кто-то по глупости. «Но это не самое страшное, — говорит Робинзон, — только бы корни остались. Если человек сорвал цветок и дома поставил его в воду — это ничего. Но есть и такие, что стараются все разорить». Позже, когда на берегу реки уже были высажены редкие сорта растений, нашлись коллекционеры, которые просто крали и увозили их. Так исчезла секвойя. Тогда Робинзон и Пятница попросили помощи у лесничества. И в лесничестве нашлись понимающие люди, они отмерили пять гектаров вдоль чудесной речки Лачупите в качестве местного заповедника — для человеческого энтузиазма. И видимо, в самый последний момент, потому что в том же году явились сюда другие землемеры — отмерять участки под застройку. Знаете, как замирали сердца у Робинзона и Пятницы? (К тому времени их уже стало больше — четыре или пять человек, приезжавших по субботам и воскресеньям высаживать новые саженцы и ухаживать за ними.) А вдруг отберут?

Теперь на дощечке сделана надпись:

«Граждане!

Будьте, пожалуйста, внимательны! Берегите растения!

Здесь расположены опытные участки чужеземных растений

Общества садоводства и пчеловодства».

Я соперничаю им, и, может быть, мне вовсе не следовало писать обо всем этом, потому что все вы начнете теперь ходить туда и мешать этим людям.

У краеведов Калвенской школы соперники есть только в Яунпиебалге и в Дурбе. Это одна из немногих школ, которая по-настоящему заботится о красоте своего края, а не только о своем школьном дворе. В окрестностях проведена инвентаризация красивейших деревьев.

— Мы сами на школьной машине словно в экспедицию ездили, проводили измерения, одновременно по тригонометрическому способу, учились определять высоту, вели учет. Высадили деревья вдоль дороги Айзпуте — Калвене, вокруг конторы колхоза «Драудзиба» и Народного дома. В тех местах, где водятся куропатки, мы зимой устраиваем навесы из хвои. Подкармливаем серн лиственными вениками. К прилету птиц каждый сколачивает один скворечник. В лесу сажаем топинамбур и кузик. Собираем желуди. Колхоз теперь сеет собранную школьниками дикую ежу.

И т. д. и т. д. Вот это работа! И все это делают тридцать восемь человек, членов кружка. Руководит ими и подписывает документы этакая маленькая «кнопочка» Майя Ошенице.

Карнавал птиц. Птичий бал. Стенды «Расти в труде и для труда», «Охраняемые животные», «Охраняемые растения» я вижу в школе впервые. Я видел разные абстрактные цифры и графики в школьных коридорах, но такое радостное воспитание с целью приобщить к труду и природе я вижу в первый раз. Вот они, эти «братики и сестрички», с которыми нам придется рабо-

тать вместе! Видишь — шмель тоже подлежит охране! А вот эту ты вчера раздавил — это виноградная улитка, ты не знал, да? (И начинаются объяснения.)

Ясно, что надо охранять лосей и аистов, а вот эти крохотули-крохотули? Пение сверчков пользуется большим уважением в Китае и в Японии. Там их носят с собой в маленьких клеточках. А разве тритон или летучая мышь — это какие-то гады?

\* \* \*

Этот день был таким перегруженным, что весь следующий я лежу в гостинице и размышляю. Наше прикладное народное искусство стремится не к монументальности, а разменивается на мелочи.

Мне они подарены, мне, следовательно, предназначались и назначались. Все эти маленькие цыплятки, погремушки, туесочки, птички из сосновых шишек с перышком вместо хвоста, бочонок величиной с наперсток, маленький потрепанный Лачплесис, крохотная Спидолия, куколки, деревянные брошечки и пластмассовые кошечки — они заполнили весь дом. Маленький трубочист требует маленьких труб, котеночек — маленьких мышек, маленькие бутылочки требуют маленьких пьяниц. Книжная полка для них велика, телевизор и столик велики. Я начал делать маленькие полочки. Но чтобы выпилить маленькие полочки, нужны маленькие пилочки. Для маленьких гвоздиков нужны маленькие молоточки. Вскоре я заметил, что по сравнению с маленькими полочками стена несоразмерно велика, и пришлось уменьшить ее, я ниже опустил потолок. Потом оказалось, что маленький Лачплесис хочет размахивать маленьким мечом, а Спидола — играть в маленьком театрике, и мне пришлось открыть маленький театр. Я открыл его и назвал Художественным театриком. С таким же успехом его можно было назвать Драматическим театриком.

Постепенно эти миниатюрные безделушки стали вла-  
дичествовать в моем доме и требовать, чтобы я соблю-  
дал их масштабы. Им не нравились мои песни, состоя-  
щие из слов, и я, подобно им, стал петь песни, состоя-  
щие из букв:

Абебе, абебе, абе,  
Абебе, абебе, бе...

Понемногу я привык. Оказалось, что можно прекрас-  
но обойтись абсолютно азбучными песнями.

Когда жена однажды выбросила на помойку целую  
охапку подаренных нам безделушек, не опасаясь того,  
что скажут друзья и знакомые по поводу такого отно-  
шения к их подаркам,— все эти помоечные обезьянки,  
гнилушковые туески, тухлые свинки, шишечные воро-  
бушки, тряпичные лачплесисы, нитяные девушки — все  
эти навозные жучки артельной работы потребовали,  
чтобы я развелся с женой.

Я растерялся. А они все время пищали мне в уши,  
что она большая, что она больше всех, что она всех  
переросла. И что мы такие ничтоженькие, все мы, и я  
в том числе, и что она смеется над нами, что она ухмы-  
ляется, что она презирует нас.

Не знаю, как это случилось, но я стал чувствовать  
себя ничтожным, маленьким, стал недоверчиво и оби-  
женно следить за поступками своей жены. И я — раз-  
велся.

Они женили меня на тряпичной девушке, и у нас  
родились отбросовые детишки — бумазейнообрезковый  
Миервалдис, юфтевокусочковый Юритис, потом Ситце-  
вокарлитис, эрзацевый Имантиньш и соломенная Саул-  
церите. Их у нас много рождается. Так много, что мы  
не знаем, как с ними быть. Мы дарим их своим друзьям  
и знакомым — пусть они тоже будут несчастливы. По-  
чему я один должен мучиться!

А моя жена вышла за другого. На свадьбе дарили

только большие вещи: мельничные жернова, деревянные статуи и медные ковши. Ее муж носит грубые куртки и обтесывает гранитные глыбы.

И они смеются надо мной.

\* \* \*

Серая была эта осень. Сплошная свинцовая серость. Трудно в такую осень убирать сахарную свеклу. Быть может, не менее трудно, чем написать книгу. Люди хотят и в книгах найти солнце, и ясное небо, и цветущие деревья. Но деревья уже облетели, солнце маячило, как далекий корабль в тумане, и моросил мелкий дождь со снегом. Я стоял на обочине и записывал.

Да, иногда я ездил на машине, по стеклу бежали струйки. Только дети, которых я подвозил по дороге, были солнечны, словно серость туч не коснулась их. Девочка ехала в школу, перед нами катил маленький «Запорожец» со своим смешным развалом колес. Девочка повернулась ко мне: это та машина, у которой большие ножки?

У меня и в мыслях тогда еще не было что-то писать, когда — а было это давным-давно — приоткрылось мне вдруг одно мгновение в осеннем тумане, безветренным вечером, и воздух был странно звонок, и лай собак вдалеке шлепал глухо, как боксерские перчатки. Люди шли сквозь туман на спевку. Далеко разносились хлюпанье глины и девичий смех. Мне чудилось, что этот белый молочный мир сейчас собьется в масло и боженька намажет его на хлеб и начнет кормить ангелов... Так приоткрываются мгновения.

Я вез тебя на велосипеде. Из школы. У тебя были косы. И все жаворонки еще были глупенькими...

Вот ведь, какие-то короткие встречи, а остаются в памяти. Так сквозь секунду можно заглянуть в день. Словно через замочную скважину, сквозь день я увидел

год. Иногда казалось — есть такие дни, которые сейчас распахнутся и увидишь вечность, но я отворачивался, страшась, что именно так и случится.

Я еду домой. За окном — Курземе.

Земля стряхнула с себя кустарник, как плесень с варенья. Дали открылись: у Иванде, дали Никраце, дали Лайде и Снепеле. Бегут облака, и тени бегут за ними по пахоте.

В ноябре по изумрудно-зеленым полям ударил град, но все так же шумели темные сосны, а даль была занавешена серым, слякотным занавесом. Поля напоминали мундир — зелень озимых и чернота земли. Луги поблескивали, как сакты.

На Сааремаа было то же самое. С моря шел снежный буран. В солнце летели лебеди.

На Даугаве — то же. Тучи всплывали прямо из лесу, вышли, таяли на глазах. Шли те самые низкие тучи, за которые можно сапог закинуть.

А в Имульинском овраге с той стороны, где Ване, засверкало солнце и стволы берез вскрикнули белизной.

Из Гайки и Сатини улетели аисты, там их было особенно много.

Прошел я по листопаду, и вот он пройден. И пройдена первая, схваченная морозом грязь. Желтеют закаты под темно-синими тучами, и вечера таковы же — темно-синие и багровые на закате. Обрел ли я что-нибудь в этой поездке?

Двадцать один — про себя, безмолвно, это трижды семь.  $21 = \text{про себя } 3 \times 7$ .

У отца три сына было и т. д. Помножил их на семь и оказался в выигрыше — я узнал о целой неделе трех сыновей. Во все дни недели их надо видеть. Мы иногда говорили по корешам, иногда — как глухой с незрячим. Осталось какое-то беспокойство, когда уезжал.

Я изжаждался по людям. Но нередко бывало так:

перебросишься несколькими словами — и все прошло, словно проглотил три куска, а четвертый нейдет. То ли глотку дерет, то ли глотка не та. В общем, душа не принимает.

Черт знает почему, хочется умножать на восемь. Хочется, чтобы: трижды восемь. Но нет ведь в неделе восьмого дня.

Думаю: надо ли мне писать о том плохом, что я видел? Ведь во всем есть и нечто хорошее. Зачем же писать о плохом? Это же буднично: кто-то ругает, выносит выговор, упрекает! О плохом узнают и без меня. Люди прежде всего нанюхивают плохое. Я не уничижал, не охаивал, я эту песенку знаю:

Ни с того уничижал,  
Ни с того охаивал.

Но помнил я и народное поверье.

Когда едят молодой картофель, бьют друг друга ложкой по лбу: в будущем году он отлично вырастет.

И я облизал свою ложку, и прикусил ее раза два. Пусть родится картофель!

Потому что и неправда бывала. Главные линии — прямые линии правды, но стоит им — на практике — разветвиться, глядишь, лезут сучки и задоринки — неправды. И тогда мы взываем к правде. И я в том числе.

К развалинам замков я даже не приближался, потому что на них написано: «К развалинам замков приближаться запрещено! Опасно для жизни!» И вот. я думаю: слишком долго требуя правды, теряешь силы, необходимые для любви. А ведь она-то и родила правду. Так сказал Альбер Камю. Не был ли я мелким и мелочным инспектором правды?

Потому что одной правды мало.

Надо сберечь в себе незамутненную ясность, источник радости, надо любить блеск дня, над которым не

властна неправда, и с этим обретенным светом вернуться в бой, пишет Камю.

В какой бой?

В будни.

Будни — ведь это бой. Утомительнейший. Труднейший.

Источник радости... Любить блеск дня...

Было ли нечто такое на моем пути?

Во-первых, СОЛНЕЧНЫЙ РИТМ.

Ярче всего проявлялся он в старых людях: в Папэ — матушка Керсте, на Сааремаа — Линда, в Азербайджане — аксакалы. С Солнечным ритмом приходят в мир дети, потом сотни и тысячи других, взаимоперекрывающихся ритмов его затмевают, как бы утаивают от нашего зрения, и мы болтаем всякие глупости: «Я больше не верю людям», «Никто для тебя пальцем не пошевелит», «Мне все осточертело» и тому подобное.

Поэтому и толковал со старыми людьми. Есть, наверное, такой возраст, когда с человека слетает все лишнее, все мелкие ритмы и остается лишь Солнечный ритм. То, что пришло с половодьем, с половодьем и уйдет, сказала мне по дороге старушка. И даже, роя могилу, нельзя бросать в лицо солнцу песок.

Поваленный дубовый ствол врос в развалину живого дуба где-то в Басах на обочине. Может быть, из-за этого только стоило забрести на эти забытые холмы. Чтобы увидеть — вечное не отдает гниению того, что вечно.

И там же, в Басах, на хуторе Гайли (Петухи), росла яблоня, которую называли Двойчатка. Она всегда приносила яблоки-двойнички. Быть может, она и сейчас еще там растет. Разве не следовало бы складывать под нее жертвоприношения? А на Вецауцской ферме есть корова, за восемь лет она дала жизнь четырнадцати телятам, и все они были двойняшками.

Яблоня-двойчатка в Петухах росла.  
Янис Слеже пел свой гвардейский гимн.  
Буря нас нянчила, пламя лелеяло...

Человек противится преходящему, эфемерному. Основательность требует, чтобы к чему-то был привязан. И когда в Айзпуде мальчишки не хотят дважды в неделю ходить на занятия по танцам — это связывает, — им напоминают о ритме солнца, который они в себе утеряли. Они говорят: я верю ритму ветра. Но ритм ветра всего-навсего вассал Солнечного ритма. Кому же вы хотите служить — слуге? Разве мы не учили физику — ритм ветра рождается от разности давлений между теплом и холодом? Солнцем! Микелис Панкок сказал: одиножды один — один. И стоял на этом. Мне бы хотелось сказать: двадцать один — это трижды семь. Я умножаю узкоколейки, толкачи, тягачи и тех, кто что-нибудь придумал.

Тонтегоде придумал — надо кладбищу колокол подарить. Древоотцы и гниение сделали свое дело, у колоколенки прогнило основание, но колокол еще висит и гудит о чем-то. В каждом человеке и в каждой вещи есть нечто необъяснимо от них остающееся, а это влечет к ним.

Тонтегоде придумал...

Басские женщины придумали собираться и пряжу прясть.

Никраце придумало породниться с художниками.

Валдемарпиллское лесничество придумало основать музей леса.

Илмар придумал лебедей приохотить к Варме.

Попэ придумало фильм «Земля, ты черна, но для нас ничего нет белей...».

Много ли было подобных узкоколеек?

Не много.

Я спрашивал: есть у вас здесь интересные люди? Обычно каждый показывал на своих. Это хорошо, ко-

нечно, но все свои и свои... Только свои. Илмар своих указывал: Вильгельм — это да, ну а другие — так себе. (Не оттого ли, что Вильгельм — охотник?)

Учителя с литературным уклоном указывали только на своих. Ничего другого в своей среде они почему-то не видели. И каждый учитель учил только своему предмету, не пытаясь соприкоснуться с другим. И каждая воспитательница защищала лишь детей своего класса: да ну что вы, коллеги, а как же они в таком случае слушаются меня?

И пенсионеры показывали только своих. А разве нельзя было показать молодых?

Откуда все это?

Наверное, от чувства неполноценности.

А именно: в другой среде, в другом коллективе, в другой компании я чувствую себя ничтожеством, мое самомнение увядает, и мне становится не по себе. Я чувствую себя ничтожеством. Меня одолевает зависть. И в самолюбии своем я оберегаю ту малость, которая мне дана. А всех остальных я знать не знаю!

В каждом человеке надо воспитывать чувство собственного достоинства — и люди не станут оскорблять друг друга.

Рабочий с развитым чувством собственного достоинства не станет оскорблять интеллигента. Интеллигент, не чуждающийся труда, — человек рабочий, и он всегда находит общий язык с пахарем, с сеятелем.

Много надежд я скопил в себе. Много семерок и троек скопилось во мне. Теперь я молчаливо умножаю.

Не думайте, что производство и культура перемежаются именно так, как я написал в своей книге. Я не мог вести долгие разговоры с производственниками — механиками, председателями и экономистами, я не ориентировался по-настоящему в их работе, сколько бы ни рас-

сказывали мне о ней. Но я никогда не говорил, что они неинтересные люди, многие из них были подлинными энтузиастами своего дела. Я нашел и нечто для души — людей ищущих. Мне это по силам. Уж такая у меня работа, я могу их найти, я их нахожу, оттого, быть может, что я подвижнее других.

Но не у всех есть такие возможности — всегда искать то, что тебе по душе. И вот, я думаю: человеку, работающему далеко в лесу, автолавка привозит хлеб. Человеку, который не может покинуть своего места, надо подвозить, доставлять ПРЕКРАСНОЕ.

И тут опять две возможности: пожалуйста, вот тебе прекрасное в готовом, так сказать, виде, а это — семена и ростки прекрасного. Из них вырастут деревца. Какую возможность вы выберете?

## СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Александров. Есть у вас горсточка синего овса?	3
ЭПИФАНИИ. Перевод Ю. Левитанского . . . . .	10
СКАЗКИ. Перевод Ю. Коваля . . . . .	78
ҚУРЗЕМИТЕ. Перевод В. Андреева . . . . .	102

**ИБ 2454**

**Имант Янович Зиедонис**

**ПЕРЕЛЕТНЫЙ КАМЕНЬ**

Редактор М. Катаева

Художник К. Фридрихсон

Художественный редактор К. Фадин

Технический редактор Г. Варыханова

Корректоры Е. Сахарова, И. Тарасова

Сдано в набор 02.03.81. Подписано в печать 19.08.81. А 00815.  
Формат 70 × 108 1/32. Вумага типографская № 1. Гарнитура  
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 5,6. Учетно-изд. л.  
5,6. Тираж 100 000 экз. Цена 20 коп. Изд. № 187.

---

Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства: 103030, Москва К-30, Суцевская, 21.  
Типография ордена «Знак Почета» издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь». Адрес типографии: 252119, Киев-119, Пархоменко, 38—42. Заказ 1205.

---

20 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ